ТОЛСТОЙ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР: АНТОЛОГИЯ ПРОЗЫ

Алексей Яшин
(г. Тула)

ТАКСИ ДО СТАНЦИИ АСТАПОВО

Писатель Никаноров проживал в Подмосковье, в бывшем наукограде. Кроме литературной профессии имел он и другие занятия: являлся подполковником запаса, а в отставке работал инженером в дотлевающем научно-исследовательском институте по профилю бывшей службы. Военная пенсия и какое-никакое жалованье в институте кормило семью и позволило пережить самые лихие годы «волчьих девяностых».

Сразу по окончании Олимпиады в Афинах ему стукнуло шестьдесят, и перестал он ходить на работу. Сказать, что вышел на пенсию — нелогично; он ее получал уже десять лет. Словом, решил полностью отдаться литературе, благо дети оперились в этой жизни, а им с женой хватало. Как раз заканчивал Никаноров большой роман и даже заранее заручился поддержкой о финансировании издания у бывшего сослуживца; тот хотя и выбился в люди, но человеком остался. Фирма же его продавала за рубеж остатки неликвидов из числа ценных материалов того же самого института.

Полагал Никаноров, что теперь-то последние главы чуть ли не сами напишутся — ведь сейчас не только выходные и будние вечера в распоряжении его пера! Однако, недоучел специфику психики человека в переломные для жизни моменты, расслабился (не водка, конечно, имеется в виду) и за весь сентябрь вымучил только один крохотный эпизод девятнадцатой главы.

Никаноров затосковал, но жена нашла выход и посоветовала развеяться, съездить на недельку в недалекую Тулу:

— Поезжай, Андрей Сергеич уже который год зовет, поохотитесь с ним, как раз сезон открывается.

И верно, опять же бывший сослуживец в августе звонил, поздравлял с «выходом на гражданскую», звал на уток... И главное в голове образовалось: побывать в толстовских местах, вдохновиться. Со стыдом вспомнил: лет двадцать как в Ясной Поляне не был... писатель называется! Сразу согласился, а уже к вечеру следующего дня закусывал в компании приятеля и его добрейшей супруги летними хозяйскими припасами привезенный с собою коньяк.

До открытия охоты оставалась пара дней, потому коньяк — свой и алаверды — пил умеренно, а наутро сел в щекинский автолайн, бодро дошагал от развилки до знаменитых въездных башен, протянул в окошко кассы удостоверение члена Союза писателей, памятуя, что двадцать лет тому назад членов Союза впускали в музей-

усадьбу по бесплатной контрамарке, о чем он и напомнил молоденькой кассирше. Та недоуменно выслушала, заявила, что никаких льгот никому уже давно нет, а билет с экскурсией стоит сто рублей. Ходят тут, мол, всякие.

...Возвратился в Тулу Никаноров несколько раздосадованным, но начавшаяся охота на водоплавающую дичь его отвлекла. Вернулся он домой хорошо отдохнувшим и с вдохновением, но скорее пессимистического характера, а потому в начало следующей главы своего романа вставил фантастический эпизод. Впрочем, модный в отечественной прозе в последние десять-пятнадцать лет.

...Всем известны успехи современной науки в части генетики; ее высшим достижением явилось развитие практического клонирования, то есть воссоздания из одной единственной молекулы ДНК всего целостного организма. Как известно, клонирование человека запрещено законодательно во всех странах мира, где это умеют делать. Понятно почему: каждая из сторон имеет законное опасение, что их исторический супостат-противник вырастит полки суворовых, роммелей, наполеонов и пр. И тем более понятно, что работы по клонированию человека, что называется подпольно, тотчас и начались во всех этих царствах-государствах. Не следует и пояснять: эти исследования курировались спецслужбами на государственных уровнях.

Единственным исключением оказалась Россия; опять же и дураку понятно почему. Но — свято место пусто не бывает. Или, как говорил философ Лейбниц: природа не терпит пустоты. Поэтому в России на себя эту обязанность взяли патриотически настроенные ученые, где-то в Томске или в Новосибирске, словом, в некоем еще сохранившемся научном центре.

А дальше случилось то, что случается с мастеровыми русскими людьми со времен Ползунова и братьев Черепановых: в отсутствии денег и необходимого инструмента они такое вмиг сотворят, что в европах-америках долго затылки яйцеголовые чешут. Так и наши подпольные ученые, радея за место государства в части щекотливой науки, на допотопном биологическом оборудовании не только вперед всех европейских и американских «нобелистов» научились клонировать человеческий организм, но попутно решили и сверхзадачу: ускорили рост, физическое и умственное развитие клона в сто раз! Но и опять были бы они не русскими людьми, если бы не страдали комплексом Левши из лесковского рассказа. Как тот подковал блоху, но, не ведая законов биомеханики, не рассчитал тяжести подков и обездвижил насекомое, так и наши подпольные ученые научились в сто раз скорее развивать организм, но не смогли останавливать это развитие в нужном возрасте, то есть в двадцать, тридцать лет... Еле-еле осилили этот останов в возрасте, соответствующем предельному для предшественника клона. Такая вот петрушка получилась. А все дело в том, что не было у них сорока штук баксов для покупки за рубежом машины для ДНК-анализа, что имеется в самой захудалой западной больничке! Поэтому, оставив не светлое будущее решение возникшей задачи, решили сибиряки испытать свое открытие на каком-нибудь великом человеке.

Опять же, поскольку были наши гениальные ученые подпольщиками вне закона, то возник вопрос о генетическом материале. Где тайно взять ДНК давно умершего великого? Выручил коллектив профессор Перерушев Аркадий Гаврилович, страстный почитатель Льва Толстого, коллекционер всего, что связано с его именем. В советское время каждый профессор, а то и до́цент, увлекались чем-либо интеллектуальным, далеким от основной работы. Дело в том, что самым большим раритетом коллекции Аркадия Гавриловича являлся изящный дамский медальон-ладанка с прядью волос Льва Николаевича. Достался он профессору от бабушки, в начале века московской консерваторки и страстной почитательницы гения земли русской.

Поначалу коллектив засмущался, засомневался: дескать, морально ли это, все же гордость народа, на издевательство над памятью великого похоже... Но Перерушев,

уже предчувствуя встречу и беседы о смысле жизни со своим литературным кумиром, заволновался, раскричался:

— ...Где я вам биоартефакты Сталина или Суворова возьму? Что есть, то и есть, а пока мы, гнилая интеллигенция — правильно о нас Владимир Ильич говорил,— будем умничать и морализировать, америкосы тысячи копий Шварценеггеров и Майклов Джексонов настругают. И что тогда будет? Каждый Шварценеггер захапает себе территорию размером с Калифорнию, а Джексоны... Ну, понятно, что они понатворят.

Почему-то именно последний довод убедил компатриотов. Дело закипело и уже к концу октября следующего за началом эксперимента года Аркадий Гаврилович любовно смотрел на вдохновенное лицо Толстого, столь знакомое по фотографиям последнего года жизни великого учителя и проповедника. Толстого спящего, ибо процесс физиологического ускоренного развития и, увы, старения клона совершался в анабиозе. Опять же возник вопрос: пора будить, 31-ое октября на носу*, а как клон поведет себя? Выручил опять же профессор Перерушев, предвкушавший долгие беседы с Учителем:

— Нужно, чтобы он проснулся в той же обстановке, что и накануне кончины. Понятно, проснулся не в жару и ознобе, как то было со Львом Николаевичем, а здоровехоньким. Мы ему перед пробуждением интенсивную терапию антибиотиками проведем. Давайте обсудим, как это все сделать.

Благо, накануне в их институте выдали зарплату за три летних месяца, поэтому, выдав женам на хозяйство по минимуму, ученые сбросились (а Перерушев еще и фамильный золотой портсигар новорусскому коллекционеру за три тысячи долла́ров толкнул), зафрахтовали у дальнобойщиков фуру и доставили спящего клона, необходимую аппаратуру и самих себя на станцию Астапово. Совсем уж на последние деньги заарендовали на неделю бывшую квартиру начальника станции И. И. Озолина — выдали себя за киношников.

Про киношников скоро узнали все население маленького станционного поселка, поэтому никто не удивился, когда утром 13-го ноября** в станционный зал ожидания, к кассе подошел старик с длинной бородой и косматыми бровями в странной длиннополой одежде и сапогах. «Смотри, смотри! Этот актер Толстого играет. Говорят, шестидесятисерийный блокбастер снимают...» — зашептался народ в зале.

Меж тем старец, назвав кассиршу милой барышней, попросил один билет до Ясной Поляны с пересадкой в Козельске. Но барышня огорошила: так по железной дороге доехать нельзя. Старец растерялся, но тут к нему подскочил Петруха, местный парень, подрабатывавший частным извозом:

— Давайте, товарищ артист, мигом домчу. И возьму по-божески из уважения.

Старец чуть помедлил и послушно пошел за автомобилистом. Покоясь на мягком заднем сиденье «москвича», старец, только что отошедший от нездоровья, длившегося тяжело и муторно почти неделю, да еще в постоянных переездах, боязни, что за ним пошлют домашнюю погоню, восстанавливал в некогда цепкой памяти события сегодняшнего утра: как он проснулся, нет, очнулся совершенно здоровым, без липкого пота горячки, без озноба. Какие-то незнакомые, но добрые люди помогли ему одеться, что-то положили в его бумажник (а вроде и не его бумажник?), подвели к вокзалу. Он как будто заново родился: все вокруг изменилось, поезда не ходят прежним путем, а таких роскошных авто он и в Москве не видывал... Догадывался, что болезнь случилась нешуточная, раз весь мир воспринимается иным. Такое с ним было только в далеком-предалеком детстве после сильной, горячечной простудной болезни.

За их «москвичом» неотступно следовала бежевая «волга» с сибирскими учеными. Перерушевым тож. Только одна мысль заполняла большелобую голову Аркадия Гавриловича: «О чем сейчас думает Учитель?».

---

* Л. Н. Толстой скончался 31 октября 1910 года.

** То есть по старому стилю 31 октября.

А старец, ощущая прилив ясности мышления, что бывает с любым человеком после тяжелой болезни, не замечая мелькавших за окном странных пейзажей, думал, что напрасно он поддался хандре, самоистязал себя душевно. Опять же этот суматошный отъезд без цели странствования...

К полудню распогодилось, осеннее солнце хотя и не грело, но радовало душу. Казалось старцу, что теперь все разрешится. И Соня, и дети поймут, что не в деньгах счастье, но в служении людям, человечеству, в личном самосовершенствовании. Да и не свойственно русскому человеку преклонение перед золотым тельцом; это ведь не протестантский Запад с его торгашеством и накопительством... Он почувствовал прилив энергии, замечтался, как лет через сто, уже в начале XXI века и нового тысячелетия деньги и вовсе исчезнут из обихода, а в его любимую Ясную Поляну будут стекаться тысячи и тысячи людей. Может, и его добрым словом помянут, прогуливаясь по тенистым аллеям, по его заветным местам...

Вот и Поляна, авто остановилось возле самых въездных башен. Старец вынул бумажник, раскрыл: и деньги он перестал узнавать, сочтя это за добрый знак — в унисон его мыслям. Протянул деньги шоферу. Тот заулыбался, взял несколько бумажек:

— В расчете, этого хватит. Может вас подождать? И мне назад не порожняком ехать.

Старец молчал, а шофер, чуть отъехав, остановился: может найдет пассажиров до Тулы, заодно и к сеструхе заглянет. Давно не видел.

Узнавая и вместе с тем не узнавая многих деталей, старец прошел между въездными башенками, несколько озадаченный многолюдством снующих туда-сюда, да в какой-то странной одежде? Однако двинулся вперед по плотинной дороге, но был остановлен неким мундирным: армейским или полицейским; опять же в новомодном мундире:

— Вы, я вижу, забыли билет приобрести? Пройдите к кассе,— и полицейский чин указал рукой на окошечко в домике-пристройке у левой въездной башни. Мало что поняв, старец подошел к окошку, в глубине которого виднелась молодая девица, стриженная под курсистку.

Девица была занята беседой с кем-то, не видимым снаружи в окошко, а глаза старца узрели текст объявления, обрамленный и остекленный. Из текста следовало, что билет на экскурсию по усадьбе стоит сто рублей. «Как?! — вскипела его душа, — не успел я из дома уйти, неделя всего прошла, а *они* Дом мой в дом торговли* превратили? А я-то, наивный, полагал, что своим уходом разбужу в них совесть, понимание мыслей и дел моих...

Снова, как вчера и в предыдущие дни в поезде, в Шамордино и Козельске, в квартире начальника станции в Астапово, зазнобило, тут же бросило в жар, в голове застучали молотки плотников, а потом и вовсе забухали фабричные молоты. С трудом, как некогда в гору на Кавказе поднимаясь, он протащился мимо белых въездных башен, теперь уже навсегда покидая свою Ясную, глядя себе под ноги, чтобы не заплелись, медленно пошел под гору по широкой площади.

— Эй, артист! — окликнул его давешний шофер.— Куда везти?

Старец поравнялся с «москвичом» и с трудом втиснулся в предупредительно открытую шофером дверь. Он и не видел, как в стоявшую позади «волгу» суетливо усаживаются взволнованные ученые-сибиряки.

— Так куда прикажете?

— В Астапово,— едва пошевелил губами старец и впал в болезненное забытье.

* Евангельские слова.

Илья Луданов*
(г. Узловая)

ЯСНЫЙ ДЕНЬ

Как легко видно зло в плохом, так много сложнее выявить зло в хорошем. Дар этот самый важный, и именно такое зло — худшее.

Я очень страдаю от несварения. И борюсь, чтобы не научиться переваривать, как большинство вокруг, кто всю грязь, что мы сами производим, и которой нас так усиленно пичкают, в себя принимают, сами ею обваливаются и в ней же тонут. Я устал от непрестанной бури возмущения и разоблачения внутри себя, от беспросветной хмари на душе, когда не то что не видишь луча света среди туч, а когда видеть-то как раз способен, и тут с ужасом осознаешь, как света вокруг тебя мало, что его почти нет, а все серебряные пятна во тьме и притягивающий блеск вокруг — ложь, ложь самая страшная, ложь привлекательная, в себя поглощающая, и что эта ложь любой в глубину уходящей черноты хуже.

Мне нужен был глоток света, правды, некая волна добра, чтобы вздохнуть свободнее, не забыть, как выглядит настоящий свет; чтобы поверить. Я не мог найти этот свет вокруг себя, и, чтобы почувствовать всю силу его, открыл книгу и представил себе этот свет.

Никогда никому и ни в чем легче не было, и со временем многое стало и лучше, но то, что мне надо было сейчас — заброшено еще хуже, чем столетие назад. Я не радовался знанию, я скучал за учебниками, я не мог понять, как после многих десятилетий развития, переварив в себе такое количество талантов и открытий, самое дорогое, что у нас было: проявление духовности в обычной жизни, все то, что мы делаем, чтоб вокруг стало немного лучше, и было видно, что люди не напрасно использовали отведенное им время — все это оказалось так далеко от массовых надежд и дум о будущем. Не может же быть, чтоб все зря, думал я, ведь большинство того, что есть, много хуже, чем было когда-то, за все время, и только частичка настоящего — более совершенна, и потому почти незаметна, а общая картина — убога и не нравится ни историкам, ни критикам, и, боюсь, не будет нравиться потомкам. Я стал отчаиваться при виде старух, сначала ставящих свечки в церкви, а потом шарящих по помойкам; при встрече с пустыми лицами и глазами, которые были довольны, получая сытую плату заработка, бегущих за границу к обывательским идеалам и радующимся в тот момент, когда о чем-то, самом меньшем, надо было задуматься; когда смотрел на таких же, внутри себя медленно отмирающих друзей и родню, у которых было все тоже — «все хорошо» — но при виде гибели которых так больно было мне.

Кажется, появилось чувство того, что в книжках называется усталостью от жизни, и во мне начала зарождаться злоба. Медленно, тихо, порою даже незаметно, но все больше, она завладевала сознанием, желаниями, и временами я стал замечать, что теряю восприятие реального мира. Конечно, я бы победил эту злобу — ведь добра во

* Наш постоянный автор, см. «ПЗ» № 1, 2010 г.

мне всегда было больше, и я боролся за него. Не я первый, и не мне быть последним. Победил бы, и жил как прежде, и все было бы хорошо, и все были бы довольны, спокойны и сыты.

Но я требовал от себя света, стремления к знанию, и еще больше — к очищению. К знанию мыслей обо всем развитии людей, к постижению истории прогресса человеческого духа. Такой прогресс становился для меня целью, смыслом жизни, и я не мог не желать знать его истории, знать, до чего в своем понимании жизни дошли люди, и с чего мне, познав предыдущее, начинать.

Свет мысли, бьющий через дела и достижения предков, притягивал. Не было ничего дороже познания добра и любви в людях, и когда я открыл книгу — увидел этот свет, ощутил возможность представить себя в котле бурлящего движения мыслей и объединения людей чувством — то не мог отказаться, даже мысленно идя на преступление вмешательства.

Я понимал, что больше одного шанса мне уже будет много, что если сразу не почувствую, не пойму, то потом и пытаться не стоит. Я кое-что знал и, внешне казалось, был готов, хоть и страшно боялся. Думал совсем не вмешиваться, не разговаривать, а только смотреть, но чувствовал, что не смогу устоять перед таким соблазном познания. Мне как воздух надо было возродить в себе веру в свет истины, в совершенство духа и разума.

Я выбрал время (благо вся история была передо мной), как можно проще оделся (и лето, и знал, что — не зря), и рано утром, появившись в полях, скоро нашел дорогу и двинулся к усадьбе.

Солнце, как и положено для начала лета, стояло уже высоко, крестьяне из недалеких, петухами кричащих деревень возвращались с работ. Одевшись как можно проще, среди народа я излишнего внимания не вызывал, хотя, конечно, показаться рабочим мужиком при всем желании не смог бы — и время не то, и люди другие. Мой же, по наряду вполне приличный, но не богатый вид, как я надеялся, должен был обеспечить проход к главному дому и исключить лишние вопросы.

По дороге к усадьбе мне встретились мужики на господских лошадях и молодые женщины, привлекающие глаз свежестью лиц. Во взгляде у всех встречных, кем бы они ни были, была непривычная простота и незамысловатость, что вызывало во мне сначала умиление, а потом боязнь того, как бы меня с моей скрытой озлобленностью и бунтарским возмущением в глазах, покрытого налетом угрюмого презрения и усталости, не заподозрили. Ну, ничего, сказал я себе, обращаясь к встречным, привыкайте, скоро вы такие взгляды, и еще даже хуже, часто встречать будете, а может, и сами такими станете.

До усадьбы оставалось недалеко, и уже стали видны зеленые верхушки столбов на въезде, когда совсем близко, впереди, под углом пересекая мне путь, показались два всадника ехавшие к воротам: молодой человек в костюме и старый и дряхлый, но большой и статный старик с огромной и чудной седой бородой. Они ехали тихой рысью и о чем-то оживленно переговаривались. Лиц я не разглядел: несколько секунд всадники ехали ко мне боком, а когда свернули на дорогу, видно было только их спины. Из тихого, топотом копыт заглушаемого разговора до меня долетело лишь пара фраз:

— Я удивляюсь, как вы справляетесь, ведь столько сил... И что же думаете делать?

— Это хуже всего и есть, когда как не у себя в доме. Нет, правда, если б не Саша, не дети, я бы давно ушел...

Старик что-то, казалось, почтительно отвечал, о чем-то еще они продолжали говорить, но расслышать было нельзя. Меня они так и не заметили и скоро скрылись за воротами въезда в усадьбу.

Я видел всадников меньше минуты, но уже должен был остановиться и подумать. Люди из другого мира, о которых знал я только понаслышке, не могли не произвести на меня впечатления. Я сразу понял, что недостаточно готов, что легко могу все испортить. Приведет это к чему — неизвестно, и придется врать и изворачиваться, хотя врать я не умею. Но другого шанса дать себе не мог, и надо было либо идти вперед, либо возвращаться.

Я огляделся: вокруг были все те же кусты и деревня, на свежем лугу росла такая же зеленая трава, а вверху икрилось голубизной бескрайнее небо. Чего же я боюсь, спросил я у себя? Все ведь то же, лишь оболочка со временем меняет цвет и форму, а нам, чтобы от времени не отстать, знать его, надо представить и понять, как и чем жили люди до нас. И я пошел вперед.

Старик крестьянин стоял у скромного красивого столба у входа в усадьбу. Шуршащий под ногами щебень идущего вверх «Прешпекта», молодая зелень берез, густая тина на мелком дне пруда,— все казалось мне каким-то близким и знакомым. Я будто ждал, что так оно и будет.

Какая же радость, смешанная с робостью ожидания, охватила меня теперь! Я здесь! В месте, где царит душа и разум, где люди ищут свой путь к богу, где знают, что такое добро и любовь не только из книг, где можно не стесняться открытого хода мысли и голоса чувств! Казалось, сама истина была отсюда не так далеко.

Для меня столько всего насыщенного сразу было так много, что я, как боялся и думал еще дома, почувствовал, что все-таки во многом не готов к такой важной встрече. И хотя много готовился и все обдумывал, теперь запросто мог спутаться, сказать или сделать какую-нибудь глупость и не только не узнать, что хотел, но еще больше запутаться. Тогда я решил немного обождать, пройтись по усадьбе, посмотреть на быт здесь живущих людей, ведь какая потрясающая возможность для историка! Я, конечно, не специалист, но не знаю, ни одного описания или фотографии, которые производили бы подобное увиденному впечатление. А тут вот оно, все в натуре: и верхний «малый», но глубокий пруд справа, и небольшой парник чуть подальше, и проглядывающая на вершине возвышенности меж деревьев белизна главного дома.

Я свернул направо, не торопясь показываться на глаза обитателям усадьбы. Меня и так с неподдельным интересом на «Прешпекте» и у парника рассматривали, как нового гостя, несколько крестьян. Гостем я не был, а посетителем становиться не спешил. Очень уж непривычно было здесь.

Боялся дождя, но погода терпела, жалуя все живое теплом солнца; становилось даже немного жарко — лето есть лето, хоть июнь только вступал в свои права.

Я заранее решил рано с утра не наведываться, а прийти после завтрака, что по-нашему привычному распорядку было почти в обеденное время. И стоило подождать, тем более одного из давешних всадников я, кажется, узнал. Спустившись к каскаду прудов «Аглицкого» парка, постоял на деревянном пешеходном мостике, перекинутом через протоку, соединявшую два пруда. Посмотрел на переливающийся красками лета веселый солнечный день. Послушал шепот играющих с ветром листьев. Улыбнулся совершенной простоте природы.

Тут за деревьями, на соседней, параллельной моей, тропе, служившей видимо аллеей для прогулок, я заметил мелькание двух серых костюмов. Оба мужчины были средних лет, но один, по голосу, постарше другого; шли они, как и положено, не торопясь, говорили тихо, и слышно их стало только, когда они проходили мимо скрывающего меня дерева. Говорили о картах и шахматах, о поездках «верхом», которыми была озабочена чья-то беспокойная супруга.

— Но, знаете, Валентин Федорович, современная медицина такие поездки очень рекомендует. А для детей — особенно, помогает в развитии организма. И Владимир

Григорьевич очень просил, говорит, это полезно для его болезней, а главное — для настроения. Как специалист насчет последнего я особенно согласен. Он видит, что еще на многое способен, и это придает дополнительные силы. Да и я же вам говорил, к мнению Черткова граф всегда прислушивался, иногда даже больше, чем к членам семьи. И не знаешь порой, может, и к лучшему, что ему запретили приезжать, меньше подозрений и ссор,— сдавленно говорил один голос. Второй взволнованно и быстро отвечал:

— Да, это ужасно! Они так часто ссорятся, чуть ли не каждый день, но это не ругательство, а молчаливое напряжение, что еще хуже. Софья Андреевна всегда чем-то раздражена и недовольна. И с Александрой Львовной такие тяжелые, натянутые отношения! Вот Сергей Львович приехал, а сразу видно, что с отцом тоже не совсем ладит, хотя любят друг друга. И все другими недовольны, и сами же от этого страдают, но больше всех — сам граф. Вы меня, Душан Петрович, уж извините за это, но как он все это терпит — страшно подумать! Ему работать хочется, а покоя нет, и так все переживает! Все же на нем! Я теперь понимаю, почему в Кочетах было так спокойно и хорошо. Мы работали с удовольствием и огромной энергией. Так невольно думаешь: уехать бы еще куда-нибудь.

— Ну, я слышал, Владимир Григорьевич давно приглашал Льва Николаевича, и тот, сколько мне известно, дал согласие...

Тут они скрылись за поворотом, и я вышел из-за дерева. И правда, подумал, вовремя я решился. Всеобщее напряжение усиливалось, а я так хотел застать его в спокойном настроении, если такое в его возрасте возможно, до нарастающего «кризиса», когда можно было еще не только поговорить, но и задуматься. Я потому и прибыл сегодня, зная, что скоро он будет в Мещерском, а после внезапного возвращения оттуда напряжение уже не пройдет, а будет только нарастать.

Какое замечательное место, думал я, гуляя вдоль пруда по узкой тропе. Поднимаясь обратно и снова оказавшись на бревенчатом мостике, я остановился и посмотрел на воду. И какие люди! Дело не в их добротных костюмах, красивой речи и изысканных манерах. Это лишь оболочка, эпиграф, вступление перед внутренним миром духовной высоты. Вот она, жизнь,— когда нет глупого понятия «говорить о высоком», то есть о том, чем мы живем, нет случаев настоящего, чистого зла, потому что есть осознание его глупости. Здесь еще многое несовершенно, много и самих здесь живущих людей не устраивает, недаром же граф своим положением столько лет себя угнетает. Но сколько же хорошего в том, что есть! Какими силами это достигается! Ведь поколения головы сложили, чтобы сейчас здесь было чем восхищаться, было чем гордиться.

А ведь не так и плохо шли! И многое надо было менять и исправлять, но не так же! А уже ходят по земле люди, которым суждено разрушить этот мир. И я уверен, и здесь есть люди, которых будущее изменит до ненависти к своему прошлому, когда хочется не просто все забыть, как плохой сон, а уничтожить, разодрать, выжечь...

Но это будет позже. Пока же у нас есть ясный солнечный день и осуществленная мечта.

Я вышел на окраину парка. Справа впереди уходила вдаль поросшая камышом и осокой низина. Пригревало показавшееся из-за облака солнце. А ведь мы будем гноить этих людей в лагерях, расстреливать по моментной прихоти, карать их и душить. Потом возрождать из пепла и отбеливать прошлое, но того, что с ними пропало, уже не вернуть. И ничего здесь, похоже, не поделаешь: история...

При мысли о том, что ожидает всех их, и с чем нам потом придется жить, как в детстве захотелось тепла и света. Я встал в солнечный просвет между ветвей и подставил лицо ласковым лучам. Мне стало тепло, и я первые расслабился. Здесь становилось даже хорошо. Так хотелось этого хорошего, и знал, что, может быть, его

больше. Изнутри возник соблазн остаться здесь, просто жить, своим трудом и своими заботами, рядом с этими людьми. Я из них никого не знаю, но, кажется, чувствую их всех вместе. Как хорошо было бы! Как светло и уютно! Но не получается не думать, и в груди что-то горит. И нельзя не помнить: кто я и для чего я, что у нас есть и куда нам смотреть. Время такое.

Главное же, я немного «притерся» — и не знаю, как сказать иначе. Присмотрелся, примерился, пообжился... глупостей теперь бы только не делать и болтать поменьше, а спрашивать побольше. А эгоист я все же: для себя здесь в первую очередь. Не для кого-то и чего-то, а для себя; для своего, внутреннего, клекотом жаждущего. С миром бы только все. С добром и светом, как сейчас. Тогда все плохое и злое просто быть не может. Глупость моя только со мной, но это уж неотделимое, первичное, надолго. Кем бы мы ни были, мы всегда можем ошибиться.

Снова, повторно, поднимаюсь по «Прешпекту» вдоль частокола берез, наверх. И теплее стало, солнце над головой выше, и я для этого другой уже и больше готов.

Впереди, среди деревьев, я снова увидел хозяйский дом: такой же большой и красивый, каким я привык видеть его в фотоальбомах. Тогда я, никуда уже не сворачивая и ни от кого не скрываясь, пошел к террасе, где у крыльца стоял кто-то, и слышалось несколько голосов.

Когда я подошел, жители усадьбы, вежливые и аккуратные, встретили меня любопытными, но доброжелательными взглядами. У крыльца старый слуга Илья Васильевич, как я угадал, и спросил, что мне угодно, и чем он может мне помочь.

Вот тут и надо было применить все, что готовил. Да и волновался страшно.

С наигранной болью и трепетом в глазах сказал, что я студент из Московского университета, но сомневаюсь в правильности моей учебы, и вот не решил и не знаю, как жить дальше, что делать и чему себя посвятить. И что мне очень необходимо видеть Льва Николаевича, и будто я уже писал ему несколько месяцев назад с просьбой о разговоре, и он ответил мне согласием.

Знатное время! Здесь как ничто другое ценилась искренность и открытость — как это было для меня трудно! но как живо! Можно ли мне было простить ложь? Но я объяснял это необходимостью цели. Оправдывала ли цель средства? Но ведь я уже признал себя эгоистом...

И хоть слуга что-то проворчал типа «граф ответов на просьбы не дает, а люди приходят сами», но злости в его голосе не было, а было такое непривычное для меня участие, и он провел меня в дом, к кабинету хозяина.

Знакомая со слов экскурсоводов прихожая, широкая лестница, старые верные часы английских мастеров. Гостиная с портретами, длинным столом и роялем. И уходящие одна за другой налево комнаты...

Остановившись у дверей, слуга сказал, что Лев Николаевич недавно вернулся с верховой прогулки, и сейчас он узнает, отдыхает ли граф, и если нет, спросит, сможет ли он принять.

Вернувшись через некоторое время, Илья Васильевич мне на радость сообщил, что граф читал, а не работал, иначе бы пришлось ждать, и теперь готов принять меня, ответить на вопросы и поговорить. «Только поймите его, он — старый человек, и если можно, то не очень долго».

На это я ничего не ответил, зная, что не могу позволить себе такого сочувствия, возможность одна, а врать этому хорошему человеку очень не хотелось.

Когда я вошел, Лев Николаевич сидел на старом кожаном диване и читал. Увидев меня, он живо встал, поздоровался со мной, немо оторопевшим в первые секунды, и сев за стол, предложил место напротив.

Я судорожно пытался успокоиться и в панике метался взглядом по комнате. Картины, фотографии, книги. Рабочий стол, как всегда, завален кипами бумаг.

Я сел и увидел устремленный на меня пронзительный, с большой внутренней силой взгляд из-под густых бровей. Сила его взгляда будто просвечивала и изучала меня всего. Но я это, к счастью знал и понимал, что через это надо пройти, взять себя в руки, иначе все дело пропадет. И тут вдруг, именно под тяжестью этого взгляда, я успокоился, овладел собой, ко мне вернулся пытливый настрой поиска, и все мысли снова выстроились в один ровный ряд.

Лев Николаевич спокойно и учтиво смотрел на меня, сам еще не произнеся ни слова и ожидая, что я сделаю. Еще раз вспомнив, кто я и зачем здесь, вдохнув полной грудью, я обратился к нему:

— Лев Николаевич, здравствуйте! Извините за беспокойство, но так уж получилось, что есть возможность посетить вас, и я, поймите, не могу не спросить, не поговорить с вами о том, что так волнует, что стоит того чтобы мне об этом думать.

— Пожалуйста, молодой человек, спрашивайте. Я постараюсь сказать вам как думаю, и как это есть на самом деле.

— И разрешите, я сразу к делу. Не хочу просто так у вас драгоценное время отнимать... извините за откровенность, по-другому с вами не могу...

— И не надо. Правдивые слова, сказанные искренними чувствами и светлыми мыслями — самые важные и единственно правильные слова. Остальное — глупость. Ложь же вашу я сразу увижу.

Граф говорил со мной быстро, уверенно и чисто. Ни к чему, кроме как к истине, слова такого человека отнести было нельзя.

— Мне, Лев Николаевич, чуть больше двадцати, я не так давно поступил в Московский Университет и жить только начинаю, но уже сейчас много спорного вижу, и даже если всего не понимаю, то многое меня беспокоит и вызывает вопросы.

— О чем же вы хотели меня спросить? И что же вас так беспокоит?

— Как и всех — будущее, Лев Николаевич. Я уже понимаю, что будущее — это единственное, что есть у нас главного, что чем сложнее прошлое, запутаннее настоящее, тем туманнее размытое будущее, и, если честно, чем больше я смотрю вокруг, тем меньше представляю, каким может быть мое и наше будущее; будущее русского народа и России. Что-то меня в сегодняшнем дне очень не устраивает, унижает и возмущает, и я не знаю, что именно, но часто кажется, что чуть ли не все сразу...

— Во многом так и должно быть. Мыслящего человека всегда что-то не устраивает, потому как он всегда видит возможности к развитию, путь большего совершенства.

— Но если всего ужасающего слишком много...

— Это уже вопрос сравнительного состояния жизни людей.

— Но сегодня лучше, чем вчера?

— Что вы имеете в виду?

— Вообще...

— Должно быть лучше. Если же нет, надо исправлять путь — он неверен. Исправлять делами каждого и всех. Ведь не только общество влияет на человека, но и человек на общество, только реже и менее заметно.

— Значит, и маленькое дело, одного человека, его, так сказать, родное, влияет на общий процесс развития и на прогресс в целом? — я очень внимательно посмотрел на Льва Николаевича.

— Несомненно! — не менее прямо и внушаемо ответил мне его взгляд, и слова эти поразили своей естественной прямотой.— Иначе тогда что бы было? Не генералы выигрывают сражения, и не цари строят города. Это делают люди. Своей очень тяжелой, беспросветной жизнью. Работой длиною в жизнь и только своим делом. Умея и желая, а если страстно желая и лучше умея,— то иногда получается великое дело, оставляющее память в поколениях.

— Но какой в этом смысл для всеобщей жизни? Ведь вы же сами в своих произведениях говорите, что материальное ничто по сравнению с духовным?! — я к своему ужасу спокойно и расслабленно уселся в предложенном мне знаком руки кресле, с намерением задавать много неудобных вопросов, ответы на которые получать было бы даже страшно.— Я вот все думаю: что же есть тогда во всех наших делах, в трудах миллионов людей, их муках и страданиях? Ведь все же разбивается о смерть! О тупость. О непонимание, нежелание и безверие!?

— Не так сразу, молодой человек. Вы правильный вопрос ставите неправильно. Совершенно ясно, что все, что есть, все, что окружает людей и является результатом их жизни — есть отражение духовного мира людей и взаимодействие их душ, их желаний и потребностей между собой. Так по жизни человека несложно определить состояние его души и всего духовного развития. И все это есть в течение времени, то есть при воздействии истории и в водовороте культур. Эта огромная сложность называется будничной жизнью, и разобраться в ней мало кому дано.

— И что же: всенародный раскол? — как можно проще о страшном спросил я.

— Нет. Непонимание от страха и безверия. Нежелание от духовной слабости и слепоты,— легко о далеком и непостигнутом ответил Лев Николаевич.— Таких как вы много: вы от этой же слепоты и спрашиваете меня о всеобщем смысле, в тайне надеясь, что я скажу, что — да, смысла нет, и все попусту, и вы будете рады опустить руки, а потом чуть ли не сами положите свои головы на плаху к уже неизбежному тогда тупику и скажите: «руби!» Но это — ложь. Это зло, которое делает дух человека трусливым, а душу — серой. Потому что вы не боретесь за преобладание истины и превосходство любви! А ее, любви, так мало, почти не видно. И любить не умеют и не хотят уметь. Вот где гибель чувств! Надо учиться любить! Каждый день, всю жизнь учиться любить, и тогда вы увидите, как люди потянутся к этой любви, и сами начнут учиться любить. Это ведь важнейшая задача при рождении каждого — научиться любить! И дела ваши тогда — будут стоить вашего времени, и смерть вам не страшна. А если зла и лжи окажется больше, так, конечно, никакое дело не останется, все пойдет прахом.

— Лев Николаевич, так как же понять, как решить, куда идти и что делать?

— Я не бог чтобы говорить вам что делать, и ни один из живущих людей не смеет брать на себя такую ответственность, и объявлять себя вправе решать за других, что им делать и как жить.

Лицо графа передавало чувство удивительного душевного подъема, и внешняя старость его была совсем незаметна — такая в нем была сила жизни на девятом десятке! Он распрямился в кресле и все время, пока я мог терпеть, зорко смотрел мне прямо в глаза. Выдержать такой взгляд было нелегко, но так я хотя бы еле успевал за ходом мысли, а потому время от времени смешивался, и не знал, что сказать и что спросить. Я перевел дух, чуть собравшись мыслями, и снова задал вопрос:

— Лев Николаевич, недавно я понял: кто бы чего ни говорил и какую точку зрения на это ни имел, самое главное для человека, при всех его достижениях и ошибках — обессмертить свою жизнь делами, поступками и решениями, будто поставить себя вне времени, чтобы хоть что-то хорошего и стоящего людской памяти оставить после себя...

— Это хорошо, но, конечно, не главное. Надо жить так, чтоб в памяти о тебе в людях главным были не твои дорогие вещи, награды и достижения, а чувства и мысли, которые возбуждаются в сердце и голове при воспоминании о тебе, и не должно быть повода — материального, денежного, чтобы и никого не обидеть, и мнение о себе не испортить. А то говорят: вот как этот помещик хорошо жил, сколько денег нажил, земель купил и заводов построил. А скольких он крестьян засек до смерти, скольких использовал и в Сибирь или в тюрьму отправил! — граф с омерзением по-

морщился, и вид его стал еще более напряженным.— Стараются забыть, а это главное, потому как такими средствами никаких устремлений оплатить нельзя. Доказывать же существование вечной жизни никому не надо — она есть! — и в это надо просто верить, и жить по этой вере. А есть она потому, что бессмертна духовная жизнь человека, и она не такая, какую мы, как нашу, видим, слышим и осязаем — то есть, чувствуем своим телом. Эту жизнь надо ощутить душой и осознать разумом, развивая мысль о своем предназначении для этой эпохи как теорию бесконечного совершенствования личности человека.

— Но как же отдельному, простому человеку, для которого самое дорогое — привычный вид из окна его дома, выбрать, что ему делать, и что ему ближе? Как решиться, когда он так мало знает, ничего толком не понял и ни с чем еще не определился? Ведь люди живут так всю жизнь!

— Позвольте, молодой человек! Вы хоть что-нибудь настоящего читали? Я вот всегда удивляюсь, как люди целыми группами, в поколениях, все высматривают, мучаясь, пытаются что-то разглядеть и ничего не видят! И меньше всего то, что к ним всего ближе! Ведь вы же путаете сами себя и друг друга! Скажите же мне: будет ли здоровый телом, умом и духом человек дышать скверным воздухом, если можно дышать чистым? Зачем кусать старое, гнилое яблоко, если можно кушать спелое и сочное? Как же можно с самим собой такое творить, утопая в грязи и глупости, путая ложь и правду? Ведь это со всеми и каждый день! Может, вы, молодежь, разучились отличать белое от черного?

Я, наверное, был в шоке, не зная, что на это не то, чтобы возразить, но и толкового сказать, но, видя, что отстать от него нельзя, сделал что мог, чтобы совсем не оплошать:

— Но если все вокруг серо? Если белое мажут сажей, а грязь отбеливают? Что же делать человеку со всеми его трудностями и проблемами в таком мире?

Лев Николаевич на миг замолчал, остановился, чуть замер, а потом поднял на меня глаза и тихо, как великий секрет, сказал:

— Любить и верить. Тогда человек чувствует бога в себе, и в нем разгорается — тихо, медленно, но величественно и всемогуще — надежда.

Тут нас очень вовремя оборвали, потому как я уже не знал, что думать и что говорить, позвав пить чай, и граф предложил спуститься вниз к небольшому яснополянскому обществу домочадцев и гостей, обещая продолжить интересный и важный разговор, и сказал, что я для него редок и из тех простых гостей, которым он всегда рад. Я облегченно вздохнул, и с новой робостью прошел в гостиную, где нас уже ждали. Сказал мой собеседник это, когда мы поднялись и прошли к столу, где Татьяна Львовна помогала прислуге сервировать стол, и на последние слова Льва Николаевича воскликнула будто шутливо:

— Вы проходите, не стесняйтесь! Будьте смелее! — и добавила также шутливо, но уже шепотом.— Папа всем рад кто денег не просит, а тогда огорчается, что люди к нему только из-за денег пришли, и, наверное, разочаровывается...

Хозяин усадьбы на это чуть усмехнулся сквозь бороду, подмигнул веселящей проворными выходками публику внучке, и мы сели пить чай.

Я был в немом восторге. Очень нравилась обстановка дома и вещей, все было как-то значимо, оправдано, несло в себе красоту и мысль; нравилось общение с этими умными людьми, сумевшими по-доброму использовать знания прошлого для построения настоящего и выбора своего пути в будущем; необычайное удовольствие доставляла царившая здесь атмосфера осмысленного оптимизма, верха над пороками душевных чувств и силы духа человека.

Только время оказалось такое же: тяжелое и даже, наверное, более непростое, чем сейчас: Россия снова была в смятении, народ стоял на перепутье, и еще совсем не

ясно было, куда ***все*** повернет. Но уже отхрипели крики кровавого воскресенья, уже солдаты стреляли по иконам, расстреливая веру во власть, взрывали министров и губернаторов, а вожди будущих правительств, следя из-за пограничного столба, уже высматривали, как можно парализовать могучую страну, и что власть ничтожно слаба, и может действовать только силой. Люди ждали перемен, все предпосылки к их необратимости были на их памяти, но то, как они жили, пробуждало желание многому научиться у них.

Они проиграют. Даже со всеми своими знаниями и опытом — бога в душах народа не хватит. Как, в общем, и всегда. У нас сейчас и такого опыта нет, мы только учимся по крупицам собирать, что было, слабо пытаясь делать какие-то выводы...

За столом я в первую очередь стал внимательно изучать присутствующих, пытаясь уловить стиль и ход тут же возникшей беседы. Сначала князь Трубецкой, почти не говоря по-русски, и пытаясь сделать комплимент наконец-то установившейся погоде, высказал возможность сходить купаться в Воронку, или, на худой конец, на «средний» пруд, Татьяна Львовна шутливо грозила приставшей к бороде деда дочери, а Дима Чертков рассказывал, как на пути из Телятинок он вместе с Валентином Федоровичем снова видел гоняющего крестьян с полей усадьбы черкеса. Лев Николаевич нахмурился и сказал, что уже несколько раз просил и просит и сейчас Софью Андреевну убрать этого злодея с полей, на что графиня ответила, что не в состоянии терпеть нахальства крестьян, и что им, бедным хозяевам, только и остается, что нанимать охрану. Лев Николаевич сказал: «Не понимаю, в чем наша бедность. Если только в совести». Здесь сразу был виден большой скрытый конфликт, который всех очень напрягал и огорчал, но никто ничего не мог с собой поделать. Завязался краткий спор, который почти сразу погас, когда Душан Петрович спросил про сегодняшних гостей, а Лев Николаевич указал на меня.

— Вот, молодой человек, московский студент, пожаловал ко мне с массою вопросов важнейшего характера, так как сам много не знает и наивно полагает, что я за раз отвечу ему на все и все для него решу. Но — думать пытается, и ответы ему эти нужны, потому как уже сейчас его волнуют вопросы от которых, как понимаю, дальнейшая жизнь и зависит.

К своей радости и удовольствию могу сказать, что рассматривали меня с неподдельным любопытством. Я раскланялся с присутствующими как мог:

— У нас, в городе, знаете ли, всего очень много. Перемены во власти, в экономике, масса новинок всевозможных. И на разных вечерах расходятся во мнениях, что же нужно России и русском человеку. Политические на это взгляды различны. И не только, поймите, революционные движения. А и в общем. Хотя, говорят, из-за границы, в Европе, сильное движение имеется, большая поддержка террористам и всюду эти взрывы, стрельба, убийства. Это здесь, в деревне, благодать...

— Неужто евреи против России опять что-то замышляют? Воротилы этакие! Дай вздохнуть — оседлают, не заметишь как!..— со своего места возмутился Душан Петрович.

— Ну что вы?! — остановил его Лев Николаевич.— Причем здесь евреи? Вы уж поймите,— обратился он теперь к одному мне.— Душан Петрович совершенно необъяснимо питает какую-то непонятную неприязнь к евреям, и никто никакими доводами разубедить его в этом утверждении не может.

Доктор еще хотел сказать что-то вроде «лет через десять посмотрим, что будет», но его уже никто не слушал, а Лев Николаевич сказал, что это так интересно, услышать мнение молодежи, и просил продолжать.

— Да... вы поймите,— с трудом пытался я изобразить хоть что-то внятное,— все очень разобщено, все страшно различные, сторонятся своих каких-то новых мнений

и принципов, не всегда даже будучи способны объяснить положение этих мнений. И все о политике и о судьбе России. О каких-то необходимых и, по-моему, страшных переменах. Однако, все это, конечно, пустые слухи. От фантазий юношеских, наверное. У всех же есть глаза, свои идеалы, чуть ли не идолы, все мы хотим быть на кого-то похожи, и делать, как кто-то делает, говорит или показывает...

— Ужас! — воскликнул Лев Николаевич.— И где это так? В Москве? Неужели все это сейчас? Похоже на сказку, на выдумку! Столько, я вижу, ваших сверстников блуждают в потемках! Самого простого и ясного у ног своих не замечают! Впрочем, все мы так. А смотреть надо стараться шире. Главного в жизни людей — достижения счастья — можно добиваться только когда следуешь сильнейшему душевному желанию. Современные молодые люди пытаются в чем-то или ком-то найти воплощение, осуществление идеала, а надо его делать!

— Как же его делать?

— Работой, конечно. Постоянной работой мозга, тела и духа, для поддержания наилучшего разностороннего развития человека.

И я снова не мог не поразиться, как он четко, точно, ничего не мешкая, говорил. Думалось, так сказать мог только человек, всю жизнь проведший в борьбе, в работе над собой, в совершенствовании духа и мысли.

В гостиной стояла тишина, и только маленькая «Татьяна Татьяновна», шутливо балуясь, специально громко причмокивала, когда отпивала очередной глоток чаю.

Все, заинтересовавшись актуальной темой, следили за нами, не вмешиваясь и не мешая, а только молча прислушиваясь. Но главное, что, кажется, заинтересовался сам хозяин дома.

Я же тему свою знал, не зря готовился и, чтобы не сбиться, не оплошать и не выдать себя, что было так легко и опасно, настырно вел свою линию:

— Но ведь все простые люди всю свою жизнь работают, не покладая рук. И трудятся почти всегда не на себя, а на кого-то, но не заметно по нашей жизни, чтобы люди при этом были довольны и счастливы. А счастливы при этом их хозяева. И видит человек, что чтобы он ни сделал, как и сколько бы его предки ни проработали, все это ни к чему не приводит, и ни ему, ни его детям ничего настоящего не даст,— он всегда останется тем, кем был, и там, где был. И, конечно, многие недовольны, злоба в людях растет, и со временем беспорядки от этого, и революции...

— Это все правда, и так и есть. Но в нашем устройстве это — проблемы правительств. А ведь вы совсем не сказали о работе духа и разума, и хотя телесный труд воспитывает дух, как, к примеру, религиозное знание есть основа воспитания, но мало кто это понимает. А мыслительный труд вообще большинству мешает, от него болит голова, и все кажется сложнее. Он мало кому становится нужен, и только тогда есть в человеке осознание значимости, непрерывности этого процесса, когда понимаешь, что даже малые остановки сильно тормозят развитие человека и отбрасывают его далеко назад, особенно когда кто-то рядом идет быстрее и более уверенным шагом. И если бы мы знали все, то не было бы ни недовольных, ни, может быть, революций...

— Но если не брать частные случаи, не сегодняшний день, не к какому-то штампу всегда привязанный исторический период, а в целом всю жизнь, с ее неизменяемыми временем чувствами, ценностями и ко всему подходящими выводами? Когда на самом деле видно, что человек — один, а вокруг него все временно, многого не стоит и, может, не такое и ясное. Что же все-таки, по-вашему, должен делать человек, если видит, что все попытки его изменять и преобладать, ничтожны и глупы? Как тогда найти веру в свое дело, убедиться в небесполезности себя?! — в каком-то безумии воскликнул я и замер с трепетом в ожидании приговора. Вот здесь возможное отчаяние взяло меня в оборот. Я замер, затихли гости за столом, задумался и сам Лев

Николаевич. Тут-то мне и стало страшно, и хотел я этого больше всего в жизни; я верил правде мыслей этого человека, потому как много им созданное и ко мне относилось, испытало уже меня, выборы и поступки пересмотреть заставило, и теперь уже было не важно, в каком виде и как писатель ответит на мой вопрос,— главным было, чтобы он дал мне ответ: как? Сейчас я переворачивал страницу книги жизни, открывая себе вещи, о которых не думал и не догадывался. И не мог не замереть в ожидании: не поворот завтрашнего дня решался, не направление пути следующих, а мой взгляд на все вокруг, на мир мой. Четче становились акценты, по которым я сам буду проявлять и определять. Оттачивались сухая суть законов и блеск ценностей, по которым я должен буду идти дальше, чтобы ощущать себя живым, чтобы жить с честью среди людей и чистой совестью под крышей неба над головой.

— Всякое дело человека,— медленно, вкрадчиво, чтоб не только услышали, но и поняли, сказал Лев Николаевич,— ничто перед бесконечностью времени и пространства, кто бы из всех людей чего ни делал. А вместе с тем действия все наши бесконечны в пространстве и времени. Важно, друзья мои,— обратился он уже не ко мне, а ко всем,— не ошибиться, пытаясь угодить и богу и всем людям.

Я метался в незнании и ощущении то ли недопонимания, то ли недопостижения. Я стоял в самом начале этого пути, и, признаюсь, мне было очень страшно. Нет, казалось, я все понимал: значимость дела для духа и материи, цели для жизни с самим собой и в обществе. Значимость искупления перед своей душой и оправдания перед людьми. И что велико было перед одним, ничтожно и бесполезно было перед другим,— я все это угадывал, но не знал, что же делать мне, что же именно вот теперь мне делать, как и куда идти, за что бороться, а с чем навсегда порвать. Все это было так громадно, что из великого общего смысла я не мог выбрать своего, конкретного.

— Но как быть нам, простым, обычным людям? Как в этом бесконечном объеме теории найти свою отправную точку, как вытянуть из клубка свою нить, четко осязать модель нашей жизни?

— Нет, молодой человек, это ошибка. Нет модели, нет единой формулы, как построить свою судьбу. Каждый последующий миг определяется мигом идущим, все непрерывно меняется, от другого в зависимости. Нет никаких планов, есть только наши чувства, наши мысли и наш выбор. Нельзя построить храм одним песком, глиной и камнями, если нет веры,— это будет просто красивое здание, так же как с одной только верой можно построить храм внутри себя. Нельзя просто посадить дерево или просто воспитать ребенка. К каждому моменту ведут сети следствий, и такие же переплетения в будущих последствиях исходят от настоящего момента. Каждый человек живет по чувствам и мыслям своим, как хочет, как лучше ему видится, и ошибкой будет задумываться о ценности каждого последствия для всех, потому как для всех всего не сделаешь. Но только тебе самому решать, на чьей ты стороне, к чему себя относишь, как ты видишь людей, на что надеешься и во что веришь.

— Для себя?

— В первую очередь.

— Но ведь вы говорите, что для себя — еще более пусто, еще глупее, ведь, не станет тебя, и тогда все попусту?

— Да. Но если ты в себе главное видишь, огонек в темноте тебя ведущий, и делом твоим руководит свет и добро, тогда то, что ты делаешь — есть благо и для всех. А если только для себя каждый из всего, что есть, рвать будет, отбирая, но не отдавая... каждый будет делать только для себя, считаясь только с собой и праведно верить этой своей правоте, то это приведет к бездне, где его место будет ниже худших. Это есть безумие. И тогда все движение — бесполезно, и дела твои тогда — пусты. И как же человеку убедить себя, что он должен еще что-то делать, еще куда-то двигаться, кроме своей механической роли самообеспечения для бесконечного насыщения.

Вот оно, что было самое важное для всех людей — ведь мы сами, в основе смысла всего нашего общества, положения всех чинов и мест подмечали, во всех видах исследовали, на свет божий всю эту взвешенную смесь выставляли и чуть ли не конченым исходом решали. На теории, конечно, но на теории самой истинной, той, на которой потом все и основывается. Мы будто еще раз весь подтекст спирали нашего развития проходим, пустое и глупое пытаясь отсечь. А это уже касается всех.

За столом был слышно, как жужжат на террасе мухи. Даже маленькая Танечка затихла, наблюдая за единой неподвижностью взрослых. Выждав небольшую паузу, будто про себя еще раз что-то проговорив, Лев Николаевич придвинулся ко мне и даже немного наклонился вперед.

То о чем говорил, он уже давно знал, все понимал, много обдумывал, видел, что все за столом стараются понять. Такой ход к единению мысли был одной из главных целей разговора. Но граф на своем уровне девятого десятка, на уровне великого таланта и беспримерного опыта, был много выше всей этой служебно-положенческой суеты, справедливо порицая карьеристику и выслуживания, и говорил то, до чего сам дошел и так, как знал.

— Послушайте, мой юный друг. Это и в правду важно. Нам подарили жизнь, и мы появились на этом свете. Так задайте себе самый простой вопрос: не может же это быть просто так? Не может же быть рождение жизни хаотичной случайностью? Для чего-то мы все рождены? Но не ради же себя, это было бы глупо... И если ты сказал себе о главном, о том, зачем стоит жить, увидел ведущую тебя идею, руководящий твоим делом свет, и что есть в тебе осознание чистоты смысла, тогда то, что ты делаешь для себя, своих целей, есть единое благо и для всех людей. В этом и религия духа, и истина мысли, и любовь. И если конечный результат всего, что в тебе — любовь, то не так это пусто и плохо, а как раз есть совершенно необходимое дело твоей жизни.

— То есть каждый человек, живя своей жизнью и делая ее лучше, тем самым, как может, меняет к лучшему и общество? — шепотом спросил я.

— Конечно. Это подходит для очень многих людей живущих для своего блага. Ведь вокруг никогда не было бы столько ошибок и лжи, если бы люди так жили. Но только и этого никак не достаточно. Человек не живет поодиночке или в своем кругу, он живет в обществе, рядом с другими такими же, как и он, и не может не участвовать в их жизни, собою на кого-то влияя или сам такому влиянию подвергаясь. Совершенствуя себя, пытаясь жить полно, подаешь внешний пример другим, и кого-то это, может, и заставит что-то в себе изменить, но большинство все равно пройдет мимо, считая себя более правыми и выше. Сейчас мало начать обращать на других внимание, если ты молод и независим. От этого ничему не учатся и ничего не узнают. У каждого свое, и всем кажется, что их — лучшее. А так быть не может — ведь истина только в совершенстве духа, в боге. И влияет на нас не только череда мыслей и поступков отдельных людей, но и со временем созданная обществом развратная и губящая жизнь. Она разрушает сознание, притупляет чувства, и когда такой человек думает, что он живет лучше всех, на самом деле он вообще не живет. Потому люди правдой должны влиять друг на друга. Спорить, обсуждать, просто говорить мысли. Так делали люди прошлого и делают наши современники. Для этого нам дана память, мы изучаем историю жизней людей прошлого. И для этого людям, полной жизнью живущим, дана и религия, и вера.

— Лев Николаевич, но как же все объяснить уже испорченным, впустую живущим людям, которых очень и очень много, страшно сказать — едва ли не большинство! К чему им вера и религия? Что им с этими знаниями делать?

— Надо, друг мой, дать увидеть — что сейчас происходит, и показать как может быть. Все дело в относительном сравнении. К примеру. Стоило в Европу в 1813, 14-ом

годах попасть — и восстание на Сенатской площади, попытка государственного переворота. А ведь и у них там тоже очень все не так хорошо, и многое и плохо даже, и не к этому стремиться надо, а через них, через духовность культуры Европы и религии Востока осознать, как может статься лучше. Ведь и у нас начинается разъединение народов, не просто несправедливая классовость, но раскол нации, а это очень опасно, это к большой крови привести может, когда из-за несогласия, как мух, будут люди давить друг друга,— Лев Николаевич очень взволновался, и видно было, что эта тема его особенно тронула, тема, которой он, в том числе, посвятил последние десятилетия.— А это хуже всего. Если такое произойдет, мы все потеряем и ничего не приобретем. Мы тогда сами же сломаем дух и испортим душу всем людям. Поэтому все преобразования надо производить укреплением духа и очищением души — истинным народным искусством — воспитанием через музыку, живопись, архитектуру и литературу высших религиозных чувств — добра и любви. А если пойдем по пути революций и войн, получится ужасно, как, может, и во Франции: надеялись на свободу, а получили военную диктатуру Бонапарта, что позже, после мнимых побед и ликований повергло страну в хаос. Это надо понять всем революционерам — то, что кровью еще никто никогда ничего не добивался. Вспомните учение Христа: прав побежденный, но не победитель. Людям надо показать, но не указывать, и они поймут самое важное — для чего они живут, и как надо жить. Но, прежде всего надо дать человеку свободу. Настоящую, чтобы человеку сказали «ты свободен!», и он не мог этого не почувствовать и не понять, и сам воскликнул бы: «Господи, ты видишь — я свободен!»

Я смотрел вокруг онемевшим взглядом. Вот ведь оно! Вот — что надо, за что боролись, за что поколениями мучились! История идет вперед, контурами нового витка повторяясь идеями. Ведь так все просто кажется, так чего же не хватает? А свобода?! Ведь — да, и грош нам цена, и в обществе разлад, и в политике, и экономике — бардак и еще какой, культура на задворках, но... свобода есть... Ведь мы и правда свободны... Ведь это даже не верится и сказать страшно: мы свободны! Шепотом, на ухо. Еще не до конца, конечно, но много больше чем когда-либо. Не они там, наверху, у короны и казны свободны, а — мы, вот здесь, у сохи и лопаты... Бедные духом, нищие карманом, но... свободные?! Нельзя поверить.

Когда же мы ее, долгожданную, получили? Даже не заметили как-то. Боролись, мучились, толпами на плаху ложились и вдруг увидели, что — свободны...

А ведь так это много значит! Многого стоит. Она у меня родная, богом изначально данная, есть, я ее не то что чувствую, почти пощупать могу, и любому за нее, кто покусится, крылья оторву и на любого демона крест наложу. И не так ее и много, и бороться еще нам за нее, но она — есть. Мы за нее революции, войны мировые прошли, «от сердца» каждый день умираем, вешаемся по пьяни, и если в начале двадцатого века ее так и не получили, а обман один, то, хоть, за все наши беды, в конце столетия она к нам, кажется, пришла. И ломали и разваливали, но ведь, сколько и писали; сколько пели, рисовали, вылепливали! Настоящего, души рвущего, поверить заставляющего. И бога в себе, на земле или на небе еще не нашли, это дело будущих свершений, но уже потихоньку, в любви и борьбе открываем для себя достижением воли дорогу по которой пойдем.

Я был радостно взволнован; здесь, под июньским солнцем, я понял, что нам есть куда идти, и эта дорога ведет к лучшему.

Чаепитие давно закончилось, и все стали расходиться по своим делам: они тоже были свободны. Только я никуда не хотел. Я глотнул правды, только начал пить из этого источника, и оторваться мне было нелегко. К счастью, не торопился и сам Лев Николаевич, хотя, я уверен, у него была масса дел. Наконец, откланялись и доктор с секретарем. Валентин Федорович сказал только, что позже принесет пробно им отредактированную какую-то книжку из цикла «На каждый день», на что Лев Николаевич

ответил, что посмотрит ближе к вечеру и что грех не воспользоваться такой погодой, и что он, верно, еще прогуляется. Потом он выжидательно, прямо в глаза, посмотрел на меня. Я спросил, возможно ли составить ему компанию на прогулке, и испугался: ведь если нет, то визит закончен, а как сейчас уйти? К счастью Лев Николаевич дал согласие, только просил дать ему еще немного отдохнуть.

— Дух и разум сегодня чувствуют себя отлично, но тело своими старческими болезнями заставляет их немного исправляться.

Последние наши слова сводили движение разговора к теме о всех людях и тому главному, что в них есть. И я тогда, памятуя о свободе, не мог не спросить про литературу:

— Лев Николаевич, но ведь уроки прошлого, знания, опыт, это все ведь чтобы делать свое, что получается и что ближе...

— Делать для себя и творить для людей. Если сможете, конечно. К счастью, все люди разные, повторений в этом не бывает, и человек создает всегда что-то новое, по своему времени, и видится это уже по-другому, яснее, даже если говорить, что о всем уже сказано мудрецами древности.

— И в литературе так?

— В любом искусстве. Это как спираль. Внешне широко и разно, ближе к центру, к сути, часто оказывается очень схожим. Но это не значит, что следующий виток нам не нужен — это же и есть развитие.

— Тогда, Лев Николаевич, еще один маленький вопрос.

— Ну, если только очень маленький,— добродушно пошутил он.

— Я знаю, вы сейчас пишите книгу о жизненном пути, собирая в нее самые лучшие мысли о самом главном. Можете сказать, о чем она конкретно?

— Нельзя, молодой человек, рассказать о книге в пять минут, я же ее так давно пишу. Книгу надо прочесть. И если хотите что-то узнать — читайте. Эта же книга — как некий итоговый взгляд на огромную, объемную и многогранную жизнь, которая есть у каждого человека. Пишу для людей, а люди должны знать, что нельзя рассматривать свою жизнь близоруко, в упор, ведь мир человека так велик!

— Не хотите ли теперь,— тут же переменил к иному он,— пройти в сад, и вы увидите, как огромно небо. Такая же и жизнь под небом.

Я с согласием энергично закивал, Лев Николаевич очень живо встал, но пошел медленно. Выйдя на улицу, он сквозь бороду улыбнулся солнцу и сам повел меня к знаменитой черемухе.

Дом стоял на вершине холма, и небо отсюда казалось огромным.

— Вот в таких местах и понимаешь, что все люди равны, и как при этом можно терпеть все ужасы, что у нас происходят? Казни, многолетние ссылки по мелким статьям. А люди все видят. И происходят революции. Для очищения, чтобы самую черную грязь вычистить. Беда только, что революции через насилия идут, через такие же казни и ссылки. Это главная ошибка. Перемены к лучшему не могут проходить через зло — это ведь так ясно! Так можно всю страну начать делить и половину ее людей выселить и расстрелять! И что тогда будет? Вот самое страшное, что может быть: потерять не отдельных людей или группу, а целый слой, поколение, которым общество, так или иначе, но двигалось, и без которого этот ход по направлению может превратиться в хаотичное дергание замкнутого кольца,— Лев Николаевич смотрел то на солнце, то на уходящую в тень сада темноту.

При этих последних словах я с ужасом посмотрел на него: «как точно, как верно!» И ведь, правда, кажется это и не так сложно, и вполне определенно: тот самый дарвинский «естественный отбор», борьба за место под солнцем, гонения неугодных. Но это у животных. А мы?..

Я вдруг опомнился и поймал себя на том, что говорю что-то вслух, а Лев Нико-

лаевич внимательно на меня смотрит. Боясь неосторожным словом погубить себя, я резко перевел разговор в русло литературы:

— Как же вам, Лев Николаевич, удается приходить к таким глубоким выводам на основании таких простых вещей? Это, может, как когда пишешь книги — мысли приходят внезапными озарениями как дар таланта?

— Что вы, молодой человек! Конечно, данные и умения нужны, но надо понять, что работа человека в искусстве, его творчество — это прежде всего духовный путь личности на многих стадиях ее развития. И глупо говорить, что все, что кто-то создал,— гениально для всех и во все времена. Ведь все всему когда-то учились, что-то для себя постигали и как-то это пробовали. Разница же в том, что кто-то смог дальше опробованных знаний развиваться, нашел в себе духовные и умственные силы, а другие остановились, начали ходить протоптанными дорожками по кругу, лишь пересказывая модным языком что уже было и выставляя это как нечто новое, особенное, удивительное и больше всего для всех нужное. Это ложное искусство. Беда в том, что его многократно больше, чем настоящего, развитием духовной мысли вымученного, и выделить его, моментально отсеять, может только каждый для себя, а люди и не разбираются, и ошибаются, а указать на правду им некому — столько вокруг мнений и чужих интересов. И часто получается, что ложное берет над истинным верх, хотя и всегда временно. К счастью, справедливее времени судьи никогда не было и не будет.

— Вы, Лев Николаевич, говорите о новых направлениях в литературе, музыке и живописи. Но ведь говорят, что это не ложное, но разностороннее развитие настоящего, просто его не все понимают, и надо учиться понимать это...

— Вот в этом-то и главная ошибка! — Лев Николаевич резко оборвал меня, и было видно, что эта тема особенно волновала его.— Посмотрите на эти новые течения! Как они себя называют! На этих декадентов, на этих импрессионистов! Как их можно понять, когда у них самих бурелом в головах? Произведение искусства ясностью своей мысли должно будить в людях чувства. То, что переживал сам художник просто и открыто должно передаться другим, и самые лучшие, духовные и религиозные чувства должны со всей силой гореть в груди читателя, зрителя или слушателя. А сейчас на модных выставках или в успешных изданиях людей только путают сами вконец заблудившиеся поэты и писатели, музыканты и живописцы. В их работах все спутано и ничего не понятно, а нужного людям нет.

Такая ясность правды поразила меня, я не мог не согласиться, но в тоже время испугался, зная, какое общественно мощное оружие держит в руках деятель искусств.

— Но что же теперь будет? За кем же идти людям, если впереди такая суматоха и непроглядность? — со скамьи у черемухи мы пошли через спортивную площадку к флигелю «Кузьминских».

— Идти надо только за богом и по дороге добра. Помогают же в этом творцы, несущие в себе любовь. Таким людям очень сложно, и они, конечно, путаются. Но исторически так складывается, что они всегда были и, даст бог, будут. И сейчас, к примеру, много хороших писателей, но их не ценят и не хотят замечать!

— Но ведь так, в общем, было всегда,— я настороженно скосил взгляд на идущего рядом Льва Николаевича.— И, наверное, так и будет...

— Может быть, ведь это дает художнику силу бороться, импульс к развитию своей личности. Ведь только тогда он может жить и работать. И получаться у творца идеи будут только тогда, когда он будет в мире с собой и с богом.— Мы вышли из тени деревьев на солнце, Лев Николаевич надел белую шляпу, и вдруг, снова прямо взглянув мне в глаза, будто признался.— Хорошо ведь будет только то, что пишешь сначала только для бога и для себя. Если пишешь для всех, никогда ничего не выхо-

дит. А многие писатели пытаются угодить сразу всем, ничего не получается, и они, пользуясь безграничностью духовных тем, выдают это за что-то новое.

Я пожалел себя, еще такого совсем слепого и наивного: ведь вот оно, и так просто! Чего же мы все выдумываем, все изобретаем что-то? Чтобы заработать? Прославиться? Но ведь... на святом слове! А так и получается. Какие же тогда из нас художники, и кто тогда смеет себя писателям назвать? А ведь и не просто называют...

— Лев Николаевич! — я уже чувствовал, что перешел все рамки времени посещения, и что у графа масса дел, но не мог уйти и не мог не спросить.— Но ведь все люди такие разные, и нет в природе ничего больше внутренне различного! Все всё делают, и пишут о своем как могут. И если все ослепли, ошибаются, путаются, занимаются не тем... то что тогда нужно людям, о чем же тогда писать?

— Ну, это каждый сам для себя решает. Не стоит забывать о свободе. Но писать надо о всегда всем нужном; о том, чего нельзя отнести ни к какому времени или человеку. Все остальное, вся суета, все мелкие, жизни недостойные проблемы ничего не стоят и скоро позабудутся, растворяясь во времени. И надо помнить, что в глубине во всех нас одно, единое начало.

— Лев Николаевич, как это правильно,— тихо говорил я вслух как сам себе.— И ведь я вижу, как этого много. И какой чушью мы все занимаемся!

Мы немного помолчали.

— Мне уже много лет, восемьдесят третий скоро пойдет, и вам кажется, что все, что я вам говорю, чудесным образом рождается во мне при ответе на ваши вопросы. На самом же деле, я уже не помню, сколько раз и когда мне их задавали, или я сам спрашивал себя об этом. Я всю жизнь отвечаю на эти вопросы, в этом основа моего пути человека. Надо учиться задавать себе самые важные вопросы, и тогда целью жизни будет поиск ответов на них, а знание их будет казаться тем, кто еще не знает, чудом или твоим даром. И это достижение.

— Но не можете же вы отрицать свой талант? Ведь миллионы взоров обращены к вам, и это все люди, которые как бы ни хотели, ничего подобного сделать не могут...

— Вот все говорят: «Толстой гений!» — Лев Николаевич брезгливо поморщился.— А я обычный человек, как чиновник или служивый человек, я ни на что великое и не способен, и это видно так ясно, что нет сомнений — могу только делать, что делаю, на пропитание хватает — и ладно, главное — свое дело люблю и тогда я во многом счастлив. Я вот всем своим близким пытаюсь сказать, что так считать — глупо, что все перед правдой равны, в каждом есть что-то, чего нет в другом, и наоборот, каждый в своем может достичь лучшего результата, чем кто-либо до него. Но никто меня не слушает,— с видимым сожалением сказал он.— Большинство же пользуется слухами обо мне.

Было видно, что все это внимание и вся слава ему давно в большую тягость, ничего этого не надо, а лишь хочется отдохнуть от людей и побыть с самим собой.

Лев Николаевич, все переводивший взгляд с меня на дорожку и обратно, остановился и посмотрел вдаль.

— Это очень плохо, когда понимают в тебе не то, принимают не за то, что есть, а ведь так, как есть, больше не напишешь, и мысль пропадает. Вот почему еще надо всегда стараться на пределе возможностей. Вы согласны?

Я не ожидал вопроса и, растерявшись, сказал первое, что пришло:

— Да, но не у всех же всегда получается. Даже у художников.

— Это самая страшная недоработка и ошибка, молодой человек, когда художник не видит в себе возможностей духовного роста. Для чего же он тогда шел к этому многие годы? И чудно, что не видит, ведь при рождении все равны и чисты, и только с возрастанием при плохом, как у нас, воспитании портятся. Последнее время я при общении и с аристократами, и с крестьянами, особенно ясно вижу, что

каждый человек — как алмаз, который можно заставить блистать или замарать свою чистоту. Я думаю, в той мере, в которой он очищен, через него светит божественный свет любви.

— Но это же огромная работа и многие люди, даже те, кто на это идут, и за всю жизнь с этим не справляются, ссылаясь на природное бессилие, неспособность и бессмысленность желания... Как же их заставить развиваться?

— Это есть не иначе как нравственная неподвижность,— ответил Лев Николаевич.— Один из признаков, например, пьющих и курящих. А не двигаться вперед для человека все равно, что идти назад, для этого надо просветление. И вот это просветление затемняется вином, табаком, наркотиками и обманом.

— Каким обманом?

— Обманом греха и ложной религии — это сложная тема. Первое плохо, соблазняет тем, что нравится: доставляет телесное удовольствие, расслабляющее и останавливающее людей на уровне животного развития — и потому плохо, а ведь многим сейчас — ужасная глупость — даже хочется быть такими и еще хуже. Это от злости ко всему и от слабости перед всем. А второе нравится, потому как кажется хорошим, добрым, и люди не видят в нем ошибок лжи, того, как их обманывают худшим способом — через любовь и добро. Во многом здесь вина церкви. Церковь поменяла для своей выгоды религиозные ценности и живет за счет труда простых людей, в ответ прикрываясь именем бога, и, испортившись, сама же перестает в самое главное верить. Для всего надо очищение — слишком много грязи вокруг...

— Как перестала? И во что должна верить? — я еле успевал за ходом его мысли.— Разве церковные служители не должны и не верят в то, во что верят все люди?

— Вот и правильно-то, и хорошо. Обязательно надо верить, а единственное, во что можно и должно верить, это в то, что добро — есть добро, что его можно и должно делать без награды. Церковная жизнь своими надуманными обрядами, золотом горящими куполами и серебряными иконами, обязательностью себепоклонения заменила добро, а любовь свою к богу и людям перевела в надобность взятия с людей денег. Вот если бы от всего этого уйти и жить своим трудом, тогда можно вести не церковную, а истинно христианскую жизнь.

— Но ведь и церковь делает много хорошего, раз под ее крест становятся целые народы! Или неужели она, как и система государственности, не имеет божьего права на существование?

— Из видимого церковь ничего плохого не делает и тем и привлекает, но испорченные пороками попы путают и себя, и людей, сами, верно, не знают, во что верят, и что несут людям. А так продолжаться долго не может. Церковь сейчас подобна государству: кажется добродетелью, возвышается призраком славной истории, к ней все привыкли и надеются на ее защиту, но в ней, как и в государстве, столько лжи и порока, так мало настоящего, что было заложено у истоков при ее создании. И я, наверное, до того дня уже не доживу, но здесь должны быть большие перемены, настолько глубокие, чтобы вырвать из системы язву лжи и вернуть церковь к истинным началам.

Я задумался, а пред глазами встали фотографии расстрелянной через восемь лет царской семьи, лица детей. И сотни, и тысячи лиц уничтоженных в революционные 20-е, 30-е годы православных церковнослужителей.

— Но ведь, Лев Николаевич, все это заблуждение — в конкретных людях. Быть может, если и государство, и церковь пройдут через много изменяющий в них перелом и поймут, что эти перемены за их ошибки даны им, они изменятся к лучшему, и повернут свое лицо к истине?

— Такое может быть, ведь все живое в движении меняется, но системы эти так стары и сложны, что для такого поворота надо будет их выкорчевать и будто переса-

дить, как растение, но очень аккуратно, чтобы не убить, а дать снова расцвести. И предпосылки этих перемен должны быть огромны.

Ничего сверхъестественного в нашем разговоре и в этих выводах не было, но как удивительно он попадал в точку итога пути того времени! Скоро все будут думать, что православию на Руси конец, а Россия пропала, и открыто на весь мир говорить об этом. А потом Россия и церковь, все же не погибнув, возродятся, но в них будут уже во многом другие люди, с другими понятиями о жизни. Таким другим человеком являюсь и я. Вот передо мной черты политики восстановления государственной твердыни, проводимой в последние годы, повсеместное строительство и восстановление церквей, соборов и храмов. И ни в том, ни в другом, с виду не кажется ничего плохого, и все идет к лучшему. «Что же это, значит, перерождение свершилось? — подумал я.— И ошибки исправлены? И правды стало больше?» Как-то не лежало на душе к этому. Тут я вспомнил и о копошащейся массе заразных червей вокруг Кремля, ложью и бездельем разъедающих систему власти, и толстым слоем золота блестящие купола новых церквей, золото на иконах, и драгоценностями сверкающие иконостасы на груди служителей церкви. Как грязь на белоснежном лице. И засомневался: а стало ли в этом больше правды и добра? Нет, рано было радоваться. Работать нам еще и работать.

На все это, нас двоих во времени разделяющее, посмотришь, и невольно подумаешь, что мало нам двух переворотов и двух мировых войн минувшего века. Они людей другими сделали, но к лучшему-то мало изменили. Как же теперь?..

Навстречу нам из кустов вдруг выскочила дурочка Параша, остановилась, смешно хлопая глазами, потом махнула рукой и, залившись смехом, побежала прочь. Все это время мы со Львом Николаевичем неторопливым шагом кружили вокруг флигеля и главного дома и теперь грелись на солнце в верхней части «Прешпекта». Кто-то из гостей, кивнув, прошел мимо, идя купаться в Воронку. Кто-то читал в беседке. У прудов веселились ребятишки. Я был здесь чужим, но никто не мешал нам и не пытался меня скорее выпроводить. Да и знали, что если Лев Николаевич устанет от меня, то сам скажет или шутливо намекнет.

Ход разговора о будущем России получал вектор развития, а я так боялся выдать себя уверенностью в этом будущем, что старался переводить вопросы на общие темы.

— Но все-таки, Лев Николаевич, если оглянуться, ведь так много пройдено, столько за все заплачено, и нельзя же сказать, что ничего хорошего не сделано?

— Есть, и много. Но даже в этом хорошем так много глупости! А сколько ошибок? Не только в государстве и церкви. А сколько в науке, искусстве, в главном, что всеми нами движет? И очень много хорошего и настоящего уничтожено, забито, изгнано. Это можно простить и забыть, и по-христиански смиренно надо.

— Но ведь это снова будет ошибка...

— Да, но из них в основном наша жизнь и состоит, и не значит, что их не надо делать. Людей сажают в тюрьму за то, что они читают и распространяют мои книги, и я пишу о сумасшествии глупого правления, но не хочу этим уничтожить их, подобно тому, как они убивают людей, а говорю об исправлении. Пусть не сразу и не сейчас, но и не через смерть и кровь. Все смерти, все войны на Земле можно прекратить одним — осознанием божьей истины, того, что человек не может убивать другого человека. Ничего другое не поможет. Ошибка всех правящих в том, что больше остального они боятся за свое, собственное, материальное, совсем не заботясь о духе своего народа и воспитании детей. Из достижения денежного богатства в материальном мире вся жизнь правящих классов и состоит. Помощи людям добром в них нет, и счастья своим правлением они никому не приносят. Еще и поэтому больше добра не становится, хоть и придумали такие слова, как «гуманизм», которые что-то облегчи-

ли, но лучше мир это не сделало. И боюсь пока так и будет. Изменятся только формы гонений, убийств, лжи и глупости. Сейчас самая главная задача — развитие духовного в людях! Того, что неподвержено изменению во времени. Если завтра Земля погибнет, то всему материальному, что мы имеем — конец. А божественная сила так велика, что для духовного гибель Земли, как и всего что мы понаделали, также как для всего человечества гибель мухи...

Эти слова, которые я видел как правду, с чем-то, наверное, не всегда соглашаясь, наводили на меня большую печаль, потому что за столетие, что было между нами, в целом положение только усложнилось. Были великие люди и великие идеи. Была страшная борьба за жизнь. Но сейчас во всех людях, вместе с добром и светом по прежнему столько лжи и глупости, столько ненужного зла, что выведенное нами из разговора, как ко всему этому подходящее, наводило большую печаль, и стало внутри нехорошо.

Мы, минуя флигель «Кузьминских», прошли в сад, к старым яблоням, где я, сильно рискуя, но, оторванно не боясь, завел речь о самом важном для меня, самом наболевшем.

— Лев Николаевич, а как быть, когда в людях, в очень многих людях... большей их части...— сильнейший нравственный упадок, и все святое почти утеряно? Они не то, что не могут вырваться из этой лживой жизни, но, уже духовно умирая, попрежнему ничего не хотят делать, чтобы больше почувствовать и понять. Это ведь страшно...

— Это бездействие всех духовных сил. Понимаете, вернуть себе жизнь может только сам человек, услышав голос бога внутри себя. Другие могут только помочь. Надо проснуться, как когда снится кошмар. Надо понять, что это кошмар, и проснуться. Я сам много раз это понимал, когда вдруг встряхивался от зла и лжи вокруг. Для этого надо верить в главное, что объединяет людей,— в силу добра и любви. Но мало сказать: я делаю добро, это так все говорят. Надо, чтобы любовь в делах твоих стала также необходима и естественна, как и любовь к себе. Это так просто, что когда я это понял, то долго удивлялся, как не видел этого раньше. Человеку важно и нужно смотреть не только под ноги, боясь споткнуться и поскользнуться, но чаще смотреть вперед, дальше, чтоб увидеть и понять, как всего вокруг много, и как много хорошего он может сделать.

Некоторое время мы шли молча. Вокруг бушевала еще очень светлая и нежная зелень: молодая и сочная трава, свежая, не огрубевшая на ветру листва. Все вокруг было тепло и приятно, рядом находился источник духовных знаний и силы мысли, от которого я только и жаждал набраться больше опыта, и еще раз так захотелось бросить все и остаться здесь. Но думал я о своем.

— Но как же, Лев Николаевич, прозреть всем и сразу? Мне видится, что в большинстве людей не то, что зла много, но над ними преобладает большая слабость во всех ее проявлениях: слепота и загубленность, лень и ложь, и где взять сил, чтобы стряхнуть с себя все это и открыть глаза, неизвестно...

— Конечно, из силы жизни, из веры! — отвечал мой великий собеседник.— Но вы правы, очень много в жизни современных людей ошибок, неправды и недобра, особенно у вас, в городе. Я довольно давно в Москве не был, но по рассказам и газетам вижу, что там и теперь все также. Потому что в городе все сложнее. Здесь, в деревне, среди свободных полей и простого народа все проще и яснее, а потому люди ближе и добрее друг к другу. Власть по глупости своей и недальновидности этим пользуется, но это еще одна ошибка. Посмотрите, как мы в деревне живем: вместе, под одной крышей, но мы свободны и независимы, не мешаемся в кучу, и суетливой массой нас никто не считает. Это лучшее общество, когда в нем каждый человек — личность. Тогда его ценят, он сознает свое существование, видит свой крест и несет

людям добро. Здесь у каждого свой путь, даже если мы идем рядом. А из алчной толпы, где каждый только и хочет, чтоб вперед вылезти, где от суеты все путается, больше выходит зла, всеобщего, для всех зла, того зла, что очень легко можно сделать всем вместе, даже если в отдельности каждый этого не желает. Добро же можно делать только поодиночке.

— Но для этого тогда простого быта мало, нужно же сильное духовное развитие, чтобы не только понимать, но и чувствовать, и всем вместе...— осторожно предположил я.

— Я думаю, что животная жизнь человека ведет только к злу,— подойдя к одной из яблонь и осмотрев топорщащуюся кору ствола, сказал Лев Николаевич.— Направлять людей должна жизнь духовная, выражаемая обществом в искусстве — голосе народа.

— Лев Николаевич, вы очень много занимаетесь вопросом искусства, больше остальных писали об этом и прошли путь от детских учебников до религиозной философии. Есть и отдельный труд. Но если кратко сказать: что же есть искусство?

— Очень многосторонний вопрос. Но если все связать и принять за истинную основу, можно сказать, что искусство, это проявление духовной силы людей, и каждый создает произведение искусства по уровню и силе духовности в себе — и тогда не красивое искусство больше истинно, высокохудожественное по форме, но пустое и непонятное людям по содержанию. У нас же сейчас все наоборот.

— И главное, все стоят на месте! — невольно вырвалось у меня. Во мне не было страха.— Форма во всем количественно преобладает, всеобщее развитие технологий есть, все куда-то идут, к чему-то движутся, но у меня впечатление, что в этом потоке каждый сам по себе стоит на месте, не желает и разучивается двигаться, не стремится, подчиняясь движению общей массы...

— Это потому что человек, под влиянием слабости и лени, считает, что он рожден, чтобы сидеть на своем месте и делать что хочет. Человек думает, что стоит, а он течет. Течет и сам по себе, и со всеми, живя в обществе. Главное, не уверить себя, что ты должен стоять, а доказать, что ты обязан идти.

Я будто слышал от него свои потаенные и не высказанные мысли. Я спрашивал себя, неужели он сам до всего дошел и все осознал. Сейчас его мысль казалась гениальной, путь души верен, и я не удивился бы, если он вывел все это сам и сам все определил для себя. Но зная, сколько праведных и умных людей моего времени рядом со мной блуждают в темноте, живя ошибками и натыкаясь на стены, я понимал, что мысль должна развиваться в поколениях, быть преемственной, прогрессировать, принося пользу; для этого она и нужна, для того и искусство, и литература. Я смотрел на себя, и говорил, что, может, и до чего-то дойду, но как дойду, не зная пути? Даже если я силен и смел, то фактически обречен, если, не зная броду, полезу в воду.

— Лев Николаевич, спрошу прямо, потому как не могу не спросить. Как вы до всего этого дошли? Неужели сами? Вот уже сколько времени мы с вами обо всем этом говорим, и я лишь вставляю вопросы, а вы ни в чем и не ошиблись, и все говорите лучшее и самое правдивое, что по всему этому вообще можно сказать. Я понимаю: сила мысли, духовный свет, но разве этого достаточно?

— А знания?

— Знания?

— Огромные, за всю историю полученные нами знания, опыт этих знаний веками передаваемый от одного другому. Поверьте, за много веков не сказано человеком, по сути, ничего нового, а мыслящие и верующие люди передают эти знания остальным в новой, более свежей и понятной форме своими произведениями искусства. Ведь искусство — лучший учитель. В скульптуре — вспомните памятники древности и последние работы как классиков, так и новоявленных авангардистов в

изображении — от наскальных рисунков до великих полотен мыслящих художников, в музыке, что даже рождает, создает чувства, а особенно — в письменности учителей человечества. Они уже дали людям самые главные знания делом своих жизней: таково учение Христа, Будды, Мухаммеда. Они открыли истину жизни, дали знание, а мы, пользуясь этими знаниями, обрамляем основы в сюжеты и формы для лучшего восприятия и своим искусством передаем эти знания дальше... Это и художественность в литературе, и направления в музыке, стили в живописи и скульптуре. Когда среди людей нет учителей, то главным направлением развития их мыслей становится искусство. Поэтому оно должно стремиться к совершенству и быть духовно чистым: его творец несет ответственность в передаче людям этих знаний. И тех, у кого это получается, мы называем великими. Это часто спорно и ошибочно, но в большинстве так и есть.

— Но о чем говорить, если не слышат?

— Это очень просто: о том, что все люди должны жить истинной, духовной жизнью. Только тогда они смогут через возбужденные в них искусством чувства понять передаваемые мысли и овладеть знаниями.

— Получается, Лев Николаевич, знания приходят через чувства. Но зачем? Не легче ли дать их в простом и прямом виде, чтобы поняли все?

— Но как же вы не понимаете?! Ведь эти самые важные знания — огромная, самая большая сила что есть!..

— И овладеть ей должны только высоко духовные люди, несущие в себе добро,— немного понуро подытожил я.

— Конечно. Только духовно развитый человек может чувствовать, и чем чище он духовно, тем ярче и сильнее он чувствует, и нет возбудителя мысли сильнее, чем чувства. Через чувства человек понимает и осознает. И через чувства получает от искусств величайшие знания людей. Поэтому, еще раз повторюсь, так важна преемственность знаний, сохранность и развитие во времени искусства. Это целые поколения людей, и отрыв от этой цепи преемственности, уничтожения слоя или вида людей, влечет страшные потери знаний, и последующим поколениям без этого очень непросто, и часто очень многие гибнут.

Вот почему нам так сложно, подумал я. За это столетие стольких переломало, стольких выжгло и истребило, что неудивительно, что мы так много потеряли, и столько приходится заново начинать...

— Но все знания, что в искусстве... получается, они все оторваны друг от друга отдельными изречениями, мыслями... или есть объединение? — скомкано, как получилось, выдавил я из себя очередной вопрос.

— Вы никак не поймете самого главного. Это духовные знания и их сопоставление зависит от человека. Это знания данные учителями, пророками, в основе их закон божий, правила данные для жизни, и объединение этих божественных знаний мы называем религией.

— Но даже если каждый живет духовной жизнью, в стремлении личности к совершенству, по божьим законам, как утвердить себя в праведности такой жизни, когда вы говорите, что деяния каждого человека ничтожны в вечности? Что тогда движет всеми людьми?

— Те же самые божьи знания — религия — что воспринимает человек духовным ростом, проявляя эти знания в искусстве. Выражение мыслью этого духовного роста в письменности, поэзии, живописи, архитектуре или музыке, есть самое важное для восприятия людьми искусства, познанием которого заметно продвижение этого человека. Очень важно здесь не ошибиться, не пойти в искусстве по ложному пути своей корысти и каждый день руководствоваться перед богом чистым разумом и светлым духом. И большинство ошибается, но тех, кто идет правильно, история помнит

как ярких носителей религиозных знаний своего времени, как выдающихся в каком-то своем деле людей.

— Но ведь натурально есть много тех, кто идет правильным путем... Как вы, например.

Лев Николаевич остановился, серьезно посмотрел на меня и сказал:

— Я всегда пытался найти этот путь и думаю, что не так давно нашел. И уже идя по нему, и тоже, конечно, ошибаясь, но как могу, стараюсь сказать людям, что я узнал и что понял.

Мне показалось, что это-то и есть самое сложное: без ложного стеснения и напыщенности определить правильность своего пути и своего предназначения в жизни среди людей.

— Но ведь это так нелегко! Это ведь адский труд, и всю свою жизнь человек на него тратит...— вырвалось у меня.

— Это труд божественный... Это крест человека, его предназначение, которое каждый должен видеть. Значимость таких вещей надо осознавать. Тогда для человека не может быть дней отдыха, ему не нужны праздники и облегчающее веселье — он нашел свое и вся жизнь его — это его дело. То, чем он несет свой свет знаний.

— Но ведь это случается не сразу, по открытию какого-то дара или таланта, к этому надо еще прийти...

— Конечно. И прийти чувством, как находит собака дорогу домой своим чутьем. Для этого и познание, и духовное развитие. А после пробы — развитие в искусстве. Первым делом не для кого-то — для себя. Чтобы себя найти, свое направление в своем деле.

— И когда человек, как вы, находит в нем свою истину, он видит мир иным? — то ли спрашивал, то ли пытался утвердить я.

— Да. И так было и у меня, когда я нашел в себе бога и свою дорогу во времени. Происходит переворот в сознании, и все вокруг видишь по-другому, чем раньше.

— Лев Николаевич, как же вы... что же было для вас...— сбивался я, захлебываясь от важности темы,— извините, что спрашиваю, но снова не спросить не могу: что было для вас главным в перемене своих взглядов на устройство мира?

— Очень многое, молодой человек, и очень трудное: познание греха и силы духа, разочарование в общественной, государственной жизни и нашей церкви. Но началось все для меня пробуждением сомнения в значимости и даже реальности материального мира. Нет, не того, что он есть, и вот он перед нами, это было бы крайней глупостью. Но через поиск веры и понимание религии этот мир потерял для меня свое значение.

— И как прийти к этому? — замер я.

— Вы забываете — у каждого свой путь. Единого рецепта здесь быть не может. Но путь этот — только через лучшее. В своем. И в знаниях, и в чувствах, и в мыслях.

Достаточно пропетляв по большому саду, мы вошли в «Старый Заказ», встретивший нас стройными рядами берез. И, слушая птиц и по-своему радуясь солнцу в чистой лесной тишине, неторопливо гуляли по маленькой лесной тропе. На природе мысль созревала лучше всего, а на душе было чисто и спокойно.

В таком месте казалось невозможным о чем-нибудь соврать или уклониться от честного ответа. Я еще раз удивился, как похожи наши времена. Это как солнце, которое на одной высоте стоит над горизонтом и светит с равной силой. Только солнце этого времени склонялось к закату, и я очень надеялся, что наша современность поднимается с восходом.

Казалось, будто я ничего не знал, о чем можно было бы сказать или спросить, и давно надо было бы оставить почтенного старца в покое, но внутренне я цеплялся за его видимый интерес к моим мнениям и вопросам.

По произведениям последних лет я знал, что проблема становления личности и обретения в себе веры немного отошла у графа на задний план, хотя и всегда подразумевалась, и теперь Льва Николаевича больше интересовали те же вопросы, но в масштабах общества и народа. Ведь именно эти ответы решали судьбу всего и всех. И мою судьбу тоже.

— Лев Николаевич,— обратился я после некоторого молчания, ставшего передышкой,— мы с вами замечательно обсудили важнейшие для человека и общества вопросы, вы показали мне, чем может и должен быть человек, и до каких высот духовного развития он может дойти. Это замечательно и конечно во многом мне поможет. Но боюсь, что, как бы я себе ни нагло льстил, все же я скорее исключение, чем правило. Как ни страшно, огромное количество людей, взрослея, буквально превращаются в скот, веруя в прелести грязи — то слепые, но очень много и ложью своей слабости упивающихся вполне здравомыслящих, хороших людей. Их обманули, они ошиблись и возвели себе идолов, развращающих их души... Если это появляется, они посвящают этому свою жизнь, идут по возрастающей в обогащении этим и погибают, так и не зная жизни. Это так больно! А особенно в больших городах, среди людской толпы, где на улицах витает дух борьбы и сопротивления. Там нет умиротворенного покоя, и это выматывает душу. Люди начинают считать себя неудачниками, все хорошее — злом, а все худшее — добром, ищут выход на дне стакана или на кончике иглы, а кто-то просто кончает с собой. До слез жаль, но большинство из таких — не глупые люди. Они спускаются по наклонной, ни в кого не вырастая, и остаются на всю долгую жизнь калеками, представляясь перед другими во всем своем уродстве. Они остаются неполноценными для человека, но еще высшими для животных, и так проживают свое время, являясь какой-то пустой болванкой, ничего не стоящей, так ничего после себя не оставив, и очень скоро их все забывают...

— В массовом рассмотрении проблема, конечно, страшна и ведет к измельчению,— ответил Лев Николаевич.— У нас сейчас этого очень много. Остается только естественное желание жить, дыша воздухом и верить в бога. В массе людей, как и у одного человека, главное — направление движения. Оно зависит от выбора ценностей, того, что считается главным. Если это богатство — люди идут к деньгам, если власть — борются за право управлять — и это, конечно, благо, но благо ложное, ведущие не иначе как к злу и смерти. Это уход от бога. Главная цель в жизни для всех людей есть стремление к благу, благу истинному, что достигается на пути к богу духовной жизнью человека. Жизнь же для тела приносит одни страдания. Это самая простая и истинная правда. И если все люди, как и должно быть в обществе, поставят ложь к злу и правду к добру, выявят истинные ценности и определят главные цели, духовная жизнь будет становиться первостепенной для большинства людей и только тогда в этом можно будет искать выход. А случиться это может со всеми сразу, потому как людей соединяет то, что одно во всех: путь к знанию... вера... добро... любовь. Надо только воспитывать в людях отношение к этим понятиям, тогда они будут знать, как относиться к главному и передавать эти знания через время... Я уже говорил, что потому все главное — в детях, и зависит от того, как их воспитывать. Это самое ответственное дело,— Лев Николаевич, с удовольствием морщась на солнце, утвердительно сделал знак рукой.— Не родить и вскормить, а воспитать. Это же очевидно, что в движении человечества вперед может принимать участие только духовно растущий, совершенствующийся в своем деле человек, и надо его к этому готовить, учить, с юности давать знания религиозного искусства, в которых основы всеобщих жизненных знаний...

— Но ведь так мало родителей могут это дать! И сами — невежественны и необразованны, и многие вообще не считают нужным давать подобные знания детям. Говорят, вырастут — сами поймут! — наигранно, вопрошающе возмутился я.— И ни в

какой школе этому не учат. Нет таких предметов и наук. В «воскресных», правда, преподают «закон божий», но это...

— Это все не то, конечно! Что там: учат как молиться! Да разве это можно?! Заучивают правила поведения, посты когда, обряды какие... это ж ничего не нужно! Человек сам для себя все это определит, дайте ему только знания, приоткройте значимость духовных основ, покажите искусством силу чувств... Он поймет, примет, а все формальности — на самом деле мелочи, это придет само, как бог на душу положит.

В университетах же и школах большинство наук ложные. Что вы там изучаете? Какие горы бумаг, забивающие лишним голову, перебираете? Они же ничуть не сделают вас лучше и добрее, а только отвратят от желания знать. Я уже много говорил: для всех людей есть только одна наука — наука о том, как жить. Все остальные менее важны, они так мало дают, только кажутся большими и важными, что охватить никак нельзя. В них одни выдумки как легче жить, но нет знаний, способных сделать вас счастливым.

Лев Николаевич, будто чуть выдохшись, прервался, и некоторое время мы шли молча. Потом он вдруг остановился.

— Вы посмотрите, мы дошли до удивительно места, связанного с моими детскими воспоминаниями. По семейному преданию, основанному моим братом, где-то здесь закопана некая «зеленая палочка», и на ней написано, как сделать всех людей счастливыми.

Мы стояли среди частокола берез, у начала большого оврага, крутыми склонами уходящего в глубину леса. Глядя на своего собеседника, на это место, я, признаться, оторопел. Ведь не так и давно я, мерно вышагивая по этой же самой, оказывается, тропе, прошел табличку «зона тишины» и увидел за поворотом...

— Удивительное место, с которым у меня, старика, самые теплые воспоминания. Мне здесь всегда хорошо,— вдохнул он полной грудью, и так же шумно выдохнул.— Главное, что у меня есть вера в это, я верю в эту легенду, в эту палочку с надписью... Она придает силы для жизни. Ах, правда, мне здесь всегда хорошо! Давайте только дальше не пойдем. Там спуск с бугра, и мне, старику, назад будет, боюсь, подняться нелегко.

Мы повернули назад, к дому, и как-то сразу пошли быстрее. Да и вечерело уже. Солнце давно свалилось к закату, и нам обоим надо было возвращаться.

Уходя отсюда, я еще раз оглянулся посмотреть на место, где может быть спрятан от людей рецепт всеобщего счастья.

— А может быть, я его когда-нибудь и найду,— сказал Лев Николаевич, обернувшись за мной.— Я не так мало за свою жизнь сделал для того, чтобы люди шли по пути к своему счастью, и, конечно, хочется, чтобы и мое счастье было недалеко. Хотя бы где-то рядом, и я чувствовал его близость.

От отголосков этой темы веяло тяжестью, я был совершенно вымотан страшным напряжением, и весь остаток тропы по лесу мы прошли довольно быстро, не говоря ни слова. Вокруг была зона тишины.

В саду верхушки яблонь золотило уходящее солнце, затихали птицы.

— Вот и закат,— к чему-то сказал я.— Интересно, в истинном знании сказано, как человек может определить конец своей жизни?

— Не думаю, было бы неинтересно доживать. Многие говорят, что люди часто предвидят, как бы предчувствуют приближение смерти, и говорят об этом другим. И это единственное предчувствие, в которое я верю. Иногда мне кажется, что оно у меня есть,— оглянулся он на меня.

Лев Николаевич, быстро и смело вышагивая по дороге к дому, казался мне большим и сильным, и я хоть и знал лишнее... но поверить сейчас, рядом с ним, в это не мог.

— Ну что вы, Лев Николаевич, посмотрите на себя, вам еще жить да жить, служить и служить...

— Да что вы! Старик я уже совсем. И жить-то всего где-то с год осталось. И то не проживу... А дел, правда,— добавил он со вздохом,— лет на пятьдесят, все мысли, мысли...

Вскоре забелел впереди флигель «Кузьминских», а за ним и большой дом. Мы быстро, минут в пятнадцать вернулись, и нельзя было поверить, что шли от дома не один час. Но я не удивился, ведь за работой мысли часы бегут незаметно, а за поиском бога в душе иногда незаметно проходят многие годы.

Мы молчали. Мне не то что не было о чем спросить, мы говорили о жизни — а это тема вечна — но я уже не мог спрашивать. Я и так получил сегодня слишком много, и сложно сказать к лучшему ли. Как я теперь буду смотреть на жизнь? Куда поверну, и в какую сторону она изменится? Я только знал, что через разговор этого дня обрел, как зритель через искусство, большое знание, дающее опыт жизни. Это знание пришло ко мне без потерь века двадцатого, в старорусском истинном виде. И я был бесконечно благодарен за эту возможность.

У крыльца нас встретил старый слуга Илья Васильевич. Он беспокойно, с притворной серьезностью разбранил Льва Николаевича за долгое отсутствие и подозрительно посмотрел на меня.

— Ничего, Васильевич,— сказал граф.— Так надо было. Хорошо очень, я чуть не расплакался несколько раз, да стыдно перед молодым человеком.

На ступени вышли Татьяна Львовна и Трубецкой.

— Ну, нельзя, Лев Николаевич, так долго. Софья Андреевна и все волновались. А то ушли бог знает куда...

— Ничего,— рассмеялся он.— Пытались, вот, найти немного счастья в лесу, это никогда не помешает.

Тут из дома выбежала «Татьяна Татьяновна» и бросилась на руки к деду.

— Вот они — дети,— обратился Лев Николаевич ко мне.— Все в них.

Так, с цепляющейся за бороду внучкой на руках он и вошел на террасу. Я остался у порога. С виду они вдвоем вызывали чувство самого душевного умиления. Но мне на них было страшно смотреть,— эта связь поколений была обречена. История этой земли перемелет все, что здесь было. И нам это все придется начинать заново, главное, может быть, утеряв.

— Спасибо вам, Лев Николаевич, но мне пора...

— А что же, на обед не останетесь? Еще светло...

— Да, но... свои ждут. Мне кажется, без меня им будет хуже, чем со мной. Теперь, думаю, я буду им нужен,— прощально улыбнулся я.

Жители и гости усадьбы собирались к позднему обеду. Кто-то возвращался с прогулки, кто-то с реки. Другие, закончив писать или что-то читать, выходили из комнат посмотреть на чарующий вечерними цветами закат, когда мы с Львом Николаевичем вернулись из «Старого Заказа». Из дома раздавалась музыка — играли на рояле. Граф тоже поблагодарил меня за посещение, и очень просто пожелал всего хорошего, и я не мог еще раз не сказать ему того же.

— Большой, вдохновенной вам, Лев Николаевич, работы,— сказал я напоследок.

Ему бы тяжело, но он крепился. Тяжело было с родными людьми, не просто находиться стало даже в родном доме. Теперь он собирался уехать в Мещерское, где попытается найти покой. Мне до слез было жаль его,— я знал, что это будет лишь краткой передышкой, может быть, даже последней для него. И отсюда, даже из родного дома, семейные склоки и публичная дотошность заставляли его уходить.

Вот и весь секрет, подумал я. А ведь теперь будет все труднее, все сложнее, и нигде не легче. Даже в этот дом светила культуры проберутся распри. И он уйдет, чтобы никогда не вернуться.

Я простился с жильцами «Ясной Поляны», со слугами, с встречными крестьянами и медленно пошел вниз по «Прешпекту», чтобы уйти так же, как и пришел — без этого нельзя было вернуться домой.

А хотелось ли возвращаться, еще раз спросил я себя? Ведь как бы ни было, здесь так замечательно! И до этого времени, все эти годы, десятилетия, когда писалось все великое, что он оставит после себя. Здесь царила потрясающая атмосфера культуры мысли и океана всего и сразу, куда мы окунаемся на страницах его книг. Здесь люди всю жизнь шли по дороге к богу, всегда находясь на пути к счастью. И путь этот находился на самом высоком идейном уровне, который только можно себе представить.

Так здесь было хорошо, когда я осознавал все это! Это место показалось мне лучшим из всех что есть. Через тепло, которое принимало от всего окружающего мое тело и моя душа, я ощутил особое чувство родства с Землей, увидел высокую мысль, ощутил близость совершенства духа.

И всему этому скоро конец! И мы во всем своем удобстве и комфорте, с нашими сытыми возможностями ведь ни на йоту не продвинулись, ничего благо дающего не открыли, ничего нового не увидели. За прошедшие сто лет люди, как ни пытались, чего ни делали, не стали счастливее. Только еще больше усложнили и так не простой мир. Много было хорошего, умного, но сколько горя принесли мы себе! И поэтому я спрашивал себя: а стоит ли уходить? Надо ли возвращаться? Зачем покидать это блаженное место, если в промежутке между нашими жизнями не стало ***лучше***, и теперь я вряд ли что сделаю, а здесь так хорошо?! А если остаться?! Мне сначала будет, конечно, хорошо. Но пройдет год, два... и я ведь знаю — скоро всему этому конец!

Веселое, яркое, июньское солнце все больше склонялось к закату, когда я вышел через центральные ворота усадьбы и, постоянно останавливаясь и оглядываясь, с очень сложными чувствами, побрел по дороге. Склонялось к закату и солнце старой империи.

Мне было и страшно, и жалко. Внутри все сжалось от ожидания беды. Как же так получится, что весь этот блеск жизни, все это сияние культуры, эти столетиями сложенные устои рухнут, и все эти люди пропадут для России? Целые поколения обманом будут лишены главных идей, что я здесь услышал сегодня. И вот вся эта жизнь, которой я очарован, которую поколениями накапливали и заслужили эти люди, будет считаться варварством, исторической ошибкой и просто злом.

Мы тоже — скромные люди. Нам немного всем дано, и мне немного надо. Немного бы человечности. И какой бы мощной страна ни стала потом, я не могу поддерживать уклад жизни, когда детей приучают «по-нашему» думать, а взрослых, кто говорит «не то», гонят и уничтожают. Я проклинаю политический режим, загоняющий сознание в формат заведенных порядков и норм, и не дающий оглядеться... Формат, запирающий чувства и осуждающий развитие мысли.

Ведь какая ошибка! Во время моего посещения усадьбы столько людей в России верили, что борются за свободу, а получили кандалы еще хуже, чем были. Только руки по-другому вывернуты.

Нет уж, сказал я себе. Хоть и прелестно у вас, хоть и притягательно, но не хочу я в ваше «начало» века, мне мое «начало», моего века, больше нравится. Потому что у вашего времени будущего нет, я знаю, а за свое, даст бог, я еще поборюсь. Да и глупость это — бежать. Куда? К чему? В моем времени одни сплошные гадости, мы с детства хорошее видим только по телевизору или читаем о нем в книгах, но никак не за окном, и я благодарю за возможность окунуться ваш мир, в ваше время, но как бы оно меня ни прельщало, как бы мне ни нравилось, я не думаю, что мое рождение теперь, на моей тихой Родине — случайность, и для меня важнее — остаться. Пусть у нас меньше блеска жизни, но зато цена правды здесь виднее; пусть мне не светят

идеалы теории «великих вождей», но голос бога под нашим небом услышать легче. История жизни каждого человека, как и история всех людей, не марионетка, чтобы вертеть ее в руках времени, у нее есть свое место и свой путь.

Я уходил из этих мест с благодарностью за опыт, с поклоном за познание настоящей, полной жизни, посвященной работе духа и мысли. Но главное, я уходил с необузданным желанием творить, меняя к лучшему. Хотя бы свою жизнь.

Когда я вернулся, на улице было почти темно. Все было то же: также мало светлого, доброго и, вообще, стоящего; и также все было завалено грязью, пошлостью и пустотой. Вокруг кишели гады. Только трава была такой же сочно зеленой, а над головой в неизвестность уходило темно-голубое небо. Это было место, где я живу. И это было мое время. До слез было жалко, что все «так», а вернее, что все «не так». И жалко, что не живу здесь же, но лет сто пятьдесят назад. Хотя тогда, я, наверное, был бы рабом...

Дома меня встретили близкие мне люди, я дотронулся до дорогих мне вещей. Ночь стала теплее. Я страшно переживал, ища выход. Ничего, сказал я себе, все у тебя получится. С богом в душе и правдой в руках.

Когда я снова подошел к окну, то за стеклом кроме черноты ничего не увидел. Единственный, кто мог осветить эту темноту, был человек, несущий в душе свет. И я вдруг понял, что моя самая большая цель и заветная мечта — стать таким человеком. И для этого стоило жить.

Людмила Алтунина
(г. Тула)

КАРТИНА ДЛЯ ЗЕКА*

Людмила Алтунина родилась и выросла в Сибири, в Горном Алтае, закончила факультет журналистики Казанского государственного университета, журналист, член Союза журналистов РФ. Работала в печатных СМИ, на радио, много лет — в многотиражной газете ТулГУ «Университетская газета» (ранее «За инженерные кадры»). Награждена нагрудным знаком «За заслуги перед университетом». Печатается в местных и центральных СМИ; в журналах «Сибирские огни», «Приокские зори», «Тульские епархиальные ведомости». Автор и соавтор нескольких книг, в том числе об ученых ТулГУ, о Великой Отечественной войне. Активный участник (рассказы, повести, эссе) литературно-творческого проекта «Новые имена России. Тульский регион», семь книг которого вышли в ЗАО «Гриф и К» в 2005—2009 гг. Соавтор избранного в трех книгах «Гриф и Странник», вышедших в этом же издательстве в 2007—2010 гг. Работает над авторской книгой.

Художницу Инну Михайловну Михайлову совершенно неожиданно для нее самой пригласили устроить выставку ее картин перед заключенными в колонии, расположенной в Калужской области. Туда отправлялась творческая интеллигенция города Т. с благотворительной акцией, и в делегацию кто-то решил включить Инну. Она согласилась не сразу. Сомневалась, будет ли понятно и нужно ее творчеству такому контингенту зрителей, не представляла себе, как сложится ее общение с заключенными, о которых она имела смутное представление по фильмам и книгам. Но как человек доброй души испытывала к ним сострадание. Это-то и заставило ее дать свое согласие на поездку. Но сомнения и волнение по поводу правильности такого ее шага не покидали Инну всю дорогу до колонии. Она так боялась равнодушных глаз, а может, даже и едких откровенных ухмылок, реплик, того, что ее творчество не будет понято.

...В городе она уже приобрела определенное имя в своей среде и в творческих кругах. Ее приглашали на различные выставки и презентации, говорили немало добрых слов о ее творчестве и даже заказывали картины. А один экстрасенс, долго и пристально рассматривающий ее картины даже сказал, что они обладают целительной силой, лечат душу, а значит — и тело.Такая светлая, чистая и сильная заложена в них энергетика, такое гармоничное сочетание красок, образа и духа.

В общем-то Инна не была профессиональным художником. По профессии она — инженер-строитель. Но рисовать любила с детства. Закончила детскую художественную школу, будучи студенткой занималась в изостудии в городском Дворце пионе-

* Из цикла «Врачующая душу кисть...» (Рассказы о художниках).

ров. Потом семья, рождение ребенка, работа надолго заставили забыть ее о кисти, правда, всякий раз, когда что-то необычное в окружающем мире привлекало ее внимание, она мысленно рисовала это в картине (переводила в художественный образ на полотно, тщательно, подбирая краски). А потом ее вдруг как прорвало. Она стала писать одну картину за другой, сначала акварели, потом и маслом. В ее воображении музыка, стихи, имена людей обретали какие-то неземные краски, легкие, яркие, загадочно переходящие в небывалые тона и полутона, они ложились на большое полотно в виде цветов необычайной красоты и сказочности. Инна и сама не знала откуда это бралось. Первой такой картиной стали причудливые, еле уловимые ирисы — именно так она восприняла стихи одного автора. Другая картина, которую она назвала «Морская», воплотила в себе любимые ее цветаевские строки: «Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю. Мне имя Марина, мне дело — измена. Я легкая пена морская!..» Полотно это было выполнено в светлых бирюзово-голубых тонах, напоминающих как бы разбросанные цветы причудливо-экзотической формы на гребнях пенных завитков и капель невесомых морских волн, уходящих в глубину темно-серыми тонами, символизирующими трагическую судьбу и кончину Марины Цветаевой.

Написала она картину и о себе — «Инна». В переводе с греческого это имя означает «плачущая» или «бурный поток». Поток, напоминающий одновременно и огромную гирлянду свисающих с небес необычных цветов, струился на ее полотне в пастельных, размытых, как бы припорошенных первым инеем, сиренево-сизых с голубизной тонах. Иней Инна привнесла в полотно потому что собственное имя у нее скорее ассоциировалось с легким инеем и свежестью первого морозца, чуть прихватившего водяные струи.

Описать художественное произведение словами просто невозможно. Его надо видеть, чувствовать. И люди, приходящие на выставки Инны Михайловой, это чувствовали. Оставляли восхищенные, благодарные отзывы, норовили познакомиться с художницей, поговорить с ней. В основном это были тоже творческие люди — писатели, поэты, журналисты, актеры, стареющие дамы из околокультурной среды — одним словом, творческая интеллигенция города. Потом она выставляла, по приглашению, свои картины перед молодежью, студентами и школьниками и тоже нашла там понимание. Но заключенные...— опять вернулась мыслями Инна к предстоящей встрече. Наконец, она рассудила, что на все воля Божья, так стало быть Ему угодно, чтобы она в колонии показала свое творчество. Ведь всегда и во всем нас ведет «Кто-то» свыше. Надо уметь читать эти знаки, не пропустить их.

...Когда же после всех речей людей из приехавшей в колонию делегации наконец слово предоставили Инне, она, хрупкая, темноволосая со стрижкой «каре», немного смущенная и растерянная, встала и сказала просто:

— Вся я, моя душа и видение мира — в моих картинах. Они перед вами. Смотрите... Вы все поймете... Будут вопросы, задавайте без стеснения.

Молодой человек в модных очках из делегации быстро сдернул покрывало, прикрывавшее выставленные вдоль стены картины.

А Инна уже спокойно следила за взглядами, скользящими по полотнам сидящих перед нею людей — зэков. В основном это были молодые парни. Она видела их глаза, такие внимательные, благодарные, жадно впитывающие каждое слово, каждый жест и теперь полностью сосредоточенные на ее картинах и понимала, что более отзывчивого, понимающего и благодарного зрителя она не встречала... «Какие ж это зэки?»,— думала она, глядя на них,— обычные парни с несложившейся судьбой, а оттого больше вызывающие сострадание, нежели презрение, осуждение». Ее сознание не хотело воспринимать то, что среди них есть насильники, убийцы, воры, бандиты.

Тюремное начальство распорядилось так, что заключенные рассматривали ее

творчество со своих мест, тесно сидя в небольшом зале «красного» уголка. Сидящие в задних рядах вытягивали шеи, привставали, чтобы лучше рассмотреть полотна. И так они были в этот миг по-детски наивны и простодушны, что трудно было поверить, что каждый из них преступил закон, совершил какое-то преступление. Напротив Инны сидел крепкий высокий мужчина лет сорока с умным, внимательным и усталым взглядом. Закинув ногу на ногу, обхватив подбородок рукой, он оперся о колено и буквально впился сощуренным взглядом в одно из полотен. Она проследила за его взором и уловила, что его внимание привлекла ее картина «Утренний ноктюрн». Мыслями, понимала она по выражению лица мужчины, он был далеко-далеко отсюда. Какие мысли, чувства, воспоминания вызвало в нем ее творчество? Инна могла только предполагать. Ей так хотелось расспросить этого мужчину о его жизни, узнать о нем что-то, заглянуть в его душу — что там, какие тревоги, надежды? В зале было так тихо, что было отчетливо слышно, как углу под потолком тонко и монотонно пищит комар, а в окне о стекло бьется муха. Инна не решалась нарушить этой тишины. Молчали и приехавшие с нею люди. Однако, видя как в задних рядах почти все повставали с мест и, вытягиваясь, пытаются через головы передних рассмотреть картины, Инна повернулась к представителю тюремной администрации, коренастому немолодому майору, их сопровождавшему, и почему-то шепотом спросила:

— Можно я покажу картины ближе, со стола — так виднее?

— Да, да, пожалуйста,— быстро и учтиво отозвался тот и, соскочив со стула, сам стал подавать ей полотна. Оживились и люди из делегации и тоже выразили готовность помочь.

Немаленькие по размеру — полтора метра в высоту и семьдесят сантиметров в ширину,— полотна тем не менее не были тяжелыми в сухих простых узких деревянных рамках, которые она заказывала у знакомого столяра и сама же покрывала золотистым лаком. Инна и сама легко могла бы справиться с ними, но ей была даже немного приятна суетливая любезность майора. То, как бережно он брал каждую картину, словно живое и хрупкое создание, которое надо беречь и, неся ее, старался не загораживать собою изображение и не отворачивать его от зрителей, говорило Инне, что ее творчество зацепило и его. Может, он и не до конца понял ее художественные образы, ее мысли и видение мира, рожденные какими-то божественными озарениями и вложенные в каждое полотно, но Инна чувствовала, с каким неподдельным уважением и даже почтением он относится к ее творениям, к ней самой. Это вызывало в ней чувство благодарности и симпатии к нему, которые она пыталась выразить легкими одобрительными кивками головы и едва уловимой улыбкой всякий раз, когда принимала или отдавала ему очередное полотно.

Одну за другой она ставила картины на стол перед собой и мельком, глянув на нее, сообщала только название, хотя ей хотелось так многое сказать этим сидящим в тишине людям, чьи взгляды так искренне и доверительно обращены к тому, во что она вложила всю свою душу, всю себя. И так боялась быть непонятой, отвергнутой этой, далекой от элитарной, публикой, перед которой она привыкла выставлять свое творчество и где находила понимание и поддержку. Но, оказалось, страхи ее были напрасны и ошибочны. Наверное, эти люди, заключенные, лишенные самого главного — свободы, оторванные от прежней жизни, в которой у каждого из них были свои привязанности, своя боль и радость, свой дом, жены, дети, любимые, как никто другой способны к обостренному восприятию сердцем, а не разумом и образованностью безошибочно улавливать происходящее вокруг. Подобно обостренному чутью зверя они, должно быть, улавливают малейшие нюансы движения души другого человека. И, тихие, мирные с виду, в любой миг готовы ответить на зло злом, на добро — добром. И в творчестве — чувствовать и отличать фальшь от искренности, подлинное от подделки. Неслучайно многие из них начинают увлекаться поэзией, сами писать сти-

хи и прозу, приходят к вере в Бога. Ее картины были искренние и не были подделкой в том смысле, что она никогда не бралась за кисть ради конъюнктуры, денег, тщеславия или от нечего делать. Картины, видение их, еще не написанных, приходило к ней откуда-то свыше. Они рождались сами собой как звучание музыки. И эту ноту ее напряженно-лирического, чистого, без фальши, внутреннего звучания, реализованного в ее картинах, чувствовала Инна, уловили вот эти заключенные из чуждого, как казалось ей ранее, мира. И оказалось, сделала Инна для себя открытие, их миры не были столь чуждыми и бесконечно удаленными друг от друга. Она видела просветленные взоры заключенных, и ей хотелось сделать для каждого из них гораздо большее, чем выставку картин; как-то помочь, поддержать, ободрить. Инна поставила на стол еще одну картину:

— Александр Блок. К циклу «Стихи о Прекрасной Даме». Стихи о любви. Это чувство живет в душе каждого человека. И каждому оно понятно и близко. Именно любовь — между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, да и вообще к людям, своей стране, ко всему миру — способна пробудить самое сокровенное в нас, обнажить самые глубокие и лучшие тайники нашего сердца,— тихим, спокойным и ясным голосом произнесла она. И также тихо, проникновенно и искренне процитировала слегка нараспев любимое из блоковской «Незнакомки»:

...И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!

Я знаю: истина в вине.

Зал, как ей показалось, разом с болью и скрытым восторгом выдохнул и еще больше затих, напряженно и благодарно впиваясь взглядами в ее картину и в их автора.

Потом Инна указала на другую картину, возникшую на столе:

— Петрарка. Сонет.— Инна уже не боялась быть непонятой, в ее душе не было смятения от мысли, что попала она со своим творчеством не туда, и что здесь вовсе не уместны, слишком высоки и элитарны ее картины к сонетам Петрарки и Шекспира, стихам поэтов Серебряного века: Блока, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Андрея Белого, Игоря Северянина и других. Улетучилось и сожаление о том, что у нее не было иных, более простых, картин. В своем творчестве она еще только начала переходить к пейзажам с натуры, натюрмортам и портретам. У нее было несколько таких работ в набросках, но не показывать же их сырыми, незавершенными.

Еще одно полотно поставил на стол перед Инной услужливый майор. Она более открыто, одобрительно дружески улыбнулась ему и с такой же улыбкой, уже без внутренней напряженности обратилась к заключенным:

— А эта картина к стихотворению всем известного и любимого Александра Сергеевича Пушкина «Цветок». Она так и называется «Пушкинский цветок».

В зале пронесся легкий, одобрительный шумок, многие улыбнулись в ответ на Иннину улыбку, закивали головами в знак согласия, мол, Пушкина они знают и любят.

— Давайте вместе вспомним это чудное пушкинское стихотворение,— сказала Инна,— оно, казалось бы, такое простое, как, на первый взгляд, и многие другие стихи поэта, но какой глубокий философский смысл в нем заключен. Именно это я и хотела отразить на своем полотне.

Придерживая правой рукой картину за угол рамки, она выпрямилась, вскинула голову и начала декламировать своим теплым, ласкающим голосом:

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвел? Когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем?
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот? и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

Последние строки Инна произнесла очень тихо и по-особому выразительно. Помолчала. А потом призналась:

— Это одно из моих любимых стихотворений.

Тишина вокруг поразительная, даже комар перестал пищать, и вдруг заключенные дружно и громко захлопали в ладоши. «Почитайте что-нибудь еще»,— попросил

кто-то...

Встреча подходила к концу. Майор объявил, что присутствующие могут письменно задавать вопросы и передавать их гостям, предупредив, чтобы не затягивали, время осталось мало.

Инне было адресовано больше всех записок. Одна из них поразила ее. Неизвестный написал: «Мне кажется, в вашей картине с названием «Музыка» звучит флейта. Я тоже играю на флейте». Инна окинула взглядом заключенных, пытаясь вычислить, кто бы из них мог прислать такую записку. Может, вон тот голубоглазый молоденький паренек во втором ряду слева, а может, этот черненький справа — он так внимательно и сосредоточенно вглядывался в ее картины, так неистово хлопал? И хоть ей хотелось узнать автора записки, она, коль он предпочел остаться неизвестным и не подписал записку, не стала нарушать его тайны. Возможно, здесь у них, какие-то свои правила, своя этика, надо быть тактичной, подумала Инна, и, зачитав записку вслух, ответила бодро:

— Вы поняли верно. Эту картину мне, действительно, навеяла флейта.

Она уже уверенно смотрела в зал, спокойно, с улыбкой ловила встречные взгляды. Не опускала взор, как в первые минуты встречи, когда грызла себя тайным укором и чувством необъяснимой вины, что, мол, попала она не по адресу и, скорее всего, не оправдает, а разочарует ожидания заключенных при знакомстве с ее творчеством. И запоздало корила себя за согласие поехать.

Инна ощущала этот неуловимый контакт с аудиторией, взаимопонимание, ей стало легко и радостно и хотелось дать как можно больше тепла этим людям.

— Так, про флейту,— вернулась она к разговору.— Однажды я пришла в музыкальную школу к учителю моей дочери Дедову. Был вечер, занятия закончились, из-за двери, за которой он находился, раздавались звуки фортепиано. Я не решилась прервать его игру и присела на стул в узком коридорчике перед дверью. И заслушалась на целых два часа. Он играл на фаготе, на трубе, на флейте — так, для себя, но как играл! И вот, когда, сомкнув веки, я слушала флейту, передо мною вдруг четко возникла вот эта самая картина, которую вы видите на полотне...— указала Инна рукой на картину в размытых лилово-фиолетовых тонах.

Инна не успела ответить на все вопросы. Она не выбросила записки, а забрала их с собой. Чем-то они были ей дороги. Сидя в автобусе, она погрузилась в свой мир, перебирая все мгновения встречи, воскрешая одно за другим лица заключенных. Ей захотелось прочитать записки, на которые она не успела ответить, интересно, о чем в них спрашивают. Она разложила записки на коленях, их было штук пять. Развернула первую попавшуюся и от неожиданности вздрогнула, словно горячей волной обдало ее с ног до головы. Пробежала записку глазами еще и еще раз: «Уважаемая Инна Михайловна, очень прошу Вас, напишите, пожалуйста, для меня картину. Мне осталось сидеть два года. Когда выйду из заключения, я отыщу Вас и выкуплю картину. Заранее благодарен Алексей».

Инна была в смятении и от неожиданности просьбы, и от мысли, что она не знает, какую картину надо написать для этого неизвестного Алексея. Одновременно она пыталась вычислить, кто же из них, пятидесяти человек, мог быть Алексеем. Попытка эта ее ни к чему не привела. «Ну почему я повнимательней не пригляделась к каждому из них,— думала Инна,— если бы я смогла угадать, который из них Алексей, вспомнить его внешность, его взгляд, реакцию на происходящее, я могла бы составить хоть какой-то психологический его портрет, тогда бы мне уже легче было бы определиться, что эта за картина должна быть». Инна ни минуты не колебалась — писать ей картину по заказу Алексея или нет. У нее даже и сомнений не было,— конечно, писать. Но о чем? Здесь должно быть что-то важное, самое главное для этого человека, что могло бы дать ему силы жить, прочно встать на свободе на ноги. Там, в

зоне, люди, была она уверена, просто так такой заказ не сделают. Значит, что-то уловил он в ее творчестве, зацепило его оно за душу. Картина для него тем более должна обладать не меньшей, а большей внутренней силой. У Инны даже мелькнула мысль приехать снова в тюрьму, узнать, кто сделал заказ. Но, если бы этот человек хотел того, он, скорее всего, написал бы и свой адрес, и фамилию,— здраво пришла к выводу Инна.

Она смотрела в окно автобуса на знакомый с детства — родилась и выросла Инна в Калужской области — красивый пейзаж среднерусской полосы, на перелески, цветовое буйство летнего разнотравья, но в мыслях неотвязно было одно: заказанная картина.

За окном мелькнул молодой крепкий дубок, сильно обгоревший почти до половины, с черным, обугленным стволом. Видно было, что кто-то у самого его подножья разводил костер — вон после него остались черные угли и перекладина, на которой не то подвешивали чайник, не то сушили одежду. Казалось бы, не выжить больше дубку, но, несмотря на такую опасную травму, дуб пышно раскинул крону и усиленно тянулся отросшими уже за этот весенне-летний сезон побегами, которые выдавала салатово-нежная зелень, ввысь, в небесную синеву.

Инну осенило! Она вмиг увидела будущую свою картину для Алексея: обгоревший дуб с зеленой кроной и нежными побегами на фоне голубого неба. У подножия дуба — черные угли, пепел и пробивающаяся через них трава. «Ему будет понятна эта аллегория,— размышляла внутренне ликующая от такой идейной находки художница.— Обгоревший дуб — это он сам. Черные угли и пепел — все, что было плохое, темное в его жизни. Зеленая, нежная трава, пробивающая угли и пепел,— затягивающиеся душевные раны ушедшего прошлого, жажда и сила жизни. Голубое небо и убегающая вдаль чистая линия горизонта — его будущее». Она видела эту новую, еще не рожденную, картину во всех деталях, в красках. Краски не будут резкими, контрастными. Они, как и ранее в ее работах, будут слегка размытыми, переходящими одна в другую, взаимосвязанными, как и все в жизни — счастье и горе, радость и печаль, плохое и хорошее, добро и зло. Но доминирующими в этой картине будут легкие нежно-зеленые и голубые тона, пронизанные золотисто-солнечным светом, олицетворяющим торжество жизни, света и добра.

Инне не терпелось сейчас же взяться за кисти. Она так и сделала. Едва переступив порог дома,— жила в небольшом частном доме, утопающем в яблонях, черемухе и сирени,— накинула рабочий халат и побежала в деревянную пристройку к дому, служившую ей мастерской. Холст уже был натянут для другой картины, и Инна с упоением начала писать. Картину она закончила в три дня, почти не выходя из мастерской. Отошла от готового, еще не просохшего полотна, посмотрела издали, прищурившись и откинув голову назад. Потом села перед ним на низенькую, широкую табуреточку и долго смотрела, представляя на своем месте Алексея. Да, определенно, картина ей нравилась. Это то, что нужно Алексею, заключила Инна. Подошла к полотну и написала в правом нижнем углу дату — 16 июня 2003 года. Отсчет времени пошел. Через два года он заберет картину.

...Ранней осенью у калитки раздался звонок, Инна вышла из мастерской как была в синем рабочем халате, руки испачканы краской, светлые, слегка вьющиеся от природы волосы, схвачены резинкой в пучок на макушке, чтобы не мешали при работе. Она приоткрыла калитку и увидела высокого, приятной внешности молодого человека лет двадцати пяти — тридцати, худощавого, жилистого в вязанном дешевеньком пуловере на пуговицах, спортивных синих брюках с матерчатой сумкой-котомкой из старенькой джинсы в руках:

— Здравствуйте, Инна Михайловна, я — Алексей. Помните, там, в записке,— он не произнес слова «тюрьма»,— я просил Вас картину мне нарисовать... Я заплачу...

Потом вдруг как-то смутившись, кивнул на свою одежду, добавил:

— Только что оттуда, извините...,— виновато вскинул серые с зеленцой глаза на хозяйку, и спросил: «Впустите?»

Он сказал это непривычное для ее слуха из уст гостей слово «впустите?» каким-то особым тоном. Инна испытала неловкость от того, что сама первой не пригласила его войти и поспешно проговорила:

— Да, да, конечно! Пожалуйста,— и жестом руки пригласила гостя входить.— Идемте прямо в мастерскую. Вы увидите вашу картину.

— Правда!? — по-детски удивленно и радостно, просияв улыбкой, воскликнул гость.

В светлой мастерской, заставленной подрамниками, картинами, пахло красками и свежим деревом. Справа стоял небольшой синий диванчик, рядом — стол с двумя стульями, самоваром и несколькими чайными парами в крупный красный горох.

— Присаживайтесь, Алексей, где вам понравится.

Гость скромно присел на краешек стула. Сумку, войдя, он поставил в углу, у двери. Он явно ощущал неловкость и стеснялся самого себя, своего затрапезного вида.

Хозяйка отошла в глубь мастерской, достала из-за ширмы полотно, накрытое цветастой тканью, и установила его на свободный подрамник.

— Эту картину я никому не показывала. Вы — ее владелец и первый зритель...— с этими словами Инна изящным движением скинула ткань с полотна и внимательно посмотрела на гостя. Он, встав со стула и почти вплотную приблизившись к картине, так и впился в нее глазами. Минут пять Алексей молча рассматривал ее, отступив шага на три. Инна видела сбоку, как на его шее ходил острый кадык, выдавая внутреннее волнение. Потом, не оборачиваясь, будто самому себе сказал: «Здорово! То, что надо!»

Потер ладонями лицо, и обратился к Инне:

— Спасибо! Слов нет вас благодарить. Я два года ждал этого дня...

В увлажнившихся его глазах было столько признательности. Он взял свою сумку и достал оттуда аккуратно сложенную пачку денег, протянул Инне:

— Здесь тридцать тысяч. Я знаю, картины стоят дорого. Если этого мало, вы скажите, заработаю еще и доплачу...

— Нет, Алексей, денег не надо. Я с радостью дарю вам эту картину. Пусть она поможет вам; чтоб как тот дубок,— Инна кивнула в сторону картины,— стремиться ввысь, к небу, свету.

— Я там поверил в Бога и покрестился,— тихо сказал Алексей.— Про картину и про меня я все понял. Спасибо, Инна Михайловна, за добрые слова, за то, что выполнили мою просьбу и такую картину нарисовали...

Хозяйка еле уговорила гостя выпить чашку чаю, остаться ночевать он наотрез отказался.

— Куда ж ты сейчас пойдешь? — спросила Инна.

— Домой поеду, в Тверь.

— Кто там у тебя — родители? Жена?

— Родители. Они инженеры. Но отец, пока я там шесть лет был, стал верующим, ушел в церковь, уехали они с матерью из города. Отец в сельской церкви служит, меня отмаливает. К ним и поеду. В городской квартире младший брат — женился, ребенок уже. У меня была невеста. Она вышла замуж за другого. Я ж для нее старался, мечтал ее в загс на собственном белом «Мерседесе» увезти. Был студентом, хотел на «мерс» и квартиру быстро много денег заработать, перегонял ворованные иномарки. Вот и попались... Да не жалейте вы меня — выкарабкаюсь...

Инна проглотила подступающие слезы. Ей так хотелось по-матерински приласкать, погладить по голове Алешу, ведь он немногим старше ее собственной дочери,

но в нем чувствовалась какая-то надломленность, боль, неуверенность и едва скрываемая озлобленность. Такое состояние, если его не преодолеть, к добру не приведет. Инна отчетливо это понимала и потому твердо и убежденно сказала гостю, как бы отвечая на его немой вопрос, как жить с таким грузом прошлого дальше?

— Иди, Алеша, по жизни смело. Каждый может оступиться, главное — не дать себе упасть. Ты можешь встретиться сейчас с тем, что многие знакомые закроют перед тобой двери, будут будто бы не узнавать тебя на улице,— не ожесточайся, не замыкайся. Учись, трудись, тянись к свету, и все придет — и обретешь твердую почву под ногами. У тебя есть Бог, родители и картина-напутствие. Для счастья и душевной тишины не так уж много надо...

— Я это понял...

— Ну иди с Богом! Ангелы навстречу...

— Спасибо, Инна Михайловна, я еще приеду к вам, когда придет время...

Она проводила Алексея за калитку и смотрела вслед, пока он не скрылся за домами, бережно неся под мышкой ее картину.

Прошло почти пять лет... О судьбе Алексея Инна ничего не знала, хотя частенько вспоминала его, думала о том, как сложилась его судьба. И однажды он явился, как снег на голову...

Это случилось в конце весны. День был солнечный, яркий, отцветала сирень и черемуха, наполняя все вокруг пьянящим ароматом. Инна жила в своем небольшом частном доме с ухоженным двориком, несколькими грядками, отведенными под огородную мелочь. Уже пробились острыми стрелками чеснок и лук, посаженные ею под зиму. С граблями в руках она мастерила лунки под огурцы. Мимо ворот шустро проскочила серебристая иномарка и также резво попятилась назад, круто притормозив у самых ее ворот. Инна подняла голову. Неужели гости к ней? Кто бы это мог быть? Никто не обещался, и она никого не ждала. Из машины выскочил высокий молодой человек в темных солнцезащитных очках, опрятно, можно сказать, даже щегольски одетый в светло-серый костюм в мелкую синюю полосочку, с которой удачно гармонировали рубашка в тон, галстук. Увидев хозяйку через невысокий штакетник, незнакомец радостно и громко воскликнул: «Инна Михайловна! А мы — к вам. Не узнаете? Алексей я, ну тот самый, которому вы картину рисовали, помните!?»

— Алексей!— так же радостно воскликнула Инна и кинулась открывать калитку.— Заходите, заходите, пожалуйста, как я рада вас видеть! Я так часто думала о вас.

Инна кинулась на шею гостю, как родному. Он так же искренне и горячо прижал ее к себе. Алексей так долго ждал этой минуты, сколько раз мысленно представлял, как это произойдет, но даже и предположить не мог. что это случится так трогательно, искренне, по-родственному. У обоих на глазах даже слезы навернулись.

— Как хорошо, что вы на месте, Инна Михайловна, никуда не переехали, я так боялся вас не найти,— выпалил Алексей и добавил, обернувшись в сторону машины,— а я не один... Сейчас приведу...

Бросился к машине и через минуту подвел к Инне миловидную, смущенно улыбающуюся, молодую женщину с крохотным, спящим ребенком на руках. Младенцу, похоже, и года нет.

— Знакомьтесь,— радостно, с нескрываемой гордостью в голосе сказал Алексей,— это Инна Михайловна. Я тебе рассказывал про нее,— обратился он к своей спутнице,— а это две моих Оленьки, Большая и Маленькая,— жена и дочь.

— Боже мой! — с восторгом воскликнула Инна.— Какое счастье! Как я рада за вас! Какие вы молодцы! Просто и слов нет всю радость выразить. Ну идемте же в дом, идемте!

— Одну секундочку! Вы идите, я сейчас вас догоню, только до машины сгоняю — и назад.

Инна провела гостью в дом, усадила в зале на кушетку. Принесла из другой комнаты подушку. Осторожно взяла из рук Ольги ребенка и положила его рядом с ней на эту самую подушку.

— Отдохните обе. Сейчас чай пить будем. Я — мигом.

Инна убежала на кухню, загремела там посудой, послышался шум струи из-под крана, звонко ударяющей в пустое дно чайника.

В прихожей появился улыбающийся, радостно возбужденный Алексей с огромным букетом темно-бордовых отливающих шелковистым атласом роз, с круглой коробкой огромного торта и большущей коробкой дорогих конфет.

Он аккуратно снял туфли и, осторожно ступая, прошел в зал. На тихое приглашение жены сесть рядом с ней, он сделал останавливающий жест рукой, мол, подожди, потом. И стоя стал ждать хозяйку. Она появилась из кухни с чайной посудой в руках. И едва пристроила чашки на столе, как к ней вплотную подошел Алексей, а следом за ним — и Оля-Большая. Волнуясь и, видимо, от того слегка заикаясь, Алексей произнес ту дорогую фразу, которую столько раз и по-разному, пытаясь уловить нужную интонацию, он мысленно прокручивал в голове. Но та, нужная, как ему казалось, интонация куда-то улетучилась от волнения и полноты чувств, которые он хотел вложить в произнесенные им слова. И он просто и искренне сказал:

— Я так долго ждал этой минуты, Инна Михайловна, чтобы прийти к вам и сказать вам большое спасибо за то, что вы сделали для меня. Вы меня спасли, вернули к жизни. Наверное, мне вас Бог послал. Наверное, его промыслом мне суждено было жить и выкарабкиваться. И я карабкался изо всех сил. Мне помогла ваша вера в меня, выраженная в картине. Я и есть то обугленное пожаром дерево, пустившее новые побеги. Потерять в себя веру проще, вернуть куда сложнее, по себе знаю. Вы помогли мне это сделать. От всех нас, от нашей семьи, огромное вам спасибо и примите вот этот букет. Эти розы мы с Олей специально для вас растили на даче и вырастили! Пусть они порадуют вас!

Алексей бережно протянул букет Инне Михайловне, смахивающей фартуком слезинки, и поцеловал ее, как мать родную или сестру, в щеку.

— Я не сомневалась, что ты станешь Человеком. Дух этой святой веры я и старалась вложить в картину и передать тебе — и, вижу, передала. Разве может быть художнику награда больше!? — счастливой улыбкой просияла в ответ Инна.

Николай Мых-Степняк
(г. Тула)

ПОГОВОРИЛИ...

Николай Александрович, родился в Казахстане в 1940 году, где и прожил большую часть своей жизни. Окончил Уральский педагогический институт, Алма-Атинскую высшую партийную школу, аспирантуру при Казахском государственном университете. Кандидат исторических наук, доцент. Работал в газетах, преподавал в вузах. Автор трех книг прозы.

В Туле проживает с 2001 года.

I

Многие ли из нас могут припомнить такую встречу, которая запомнилась на десятилетия, стала бы судьбоносной, предостерегающей, укоряющей? Такая встреча и продолжительная, тяжелая беседа случилась у подполковника внутренней службы Романа Семеновича Ткаченко с писателем Александром Исаевичем Солженицыным в купе поезда «Симферополь — Москва», проходившего через город К. И состоялась она в средине апреля 1964 года. О ней не очень хотелось вспоминать Роману Семеновичу. Он никогда не мог сказать, что она приятна ему, но и забыть о ней он уже не мог. При мыслях о ней ему становилось неуютно, некомфортно, во многом она была как бы укором ему. О такой встрече и рассказать другому хочется,— лестно ведь,— и не очень-то и расскажешь. Это была встреча-откровение, воспринималась как сущее наваждение, даже — обида. Воспоминание о ней радовало, тревожило и жгло душу, вызывало смятение, подталкивало к внутреннему спору и возмущало. Так, наверное, происходит с каждым, общающимся с великим человеком, с гением добра и зла. Сплошные противоречия, скажет вдумчивый читатель. И будет прав. Но вспомним гетевского «Фауста», вспомним, что его герой был частью могучей неопределенной силы, которая вечно желает зла и вечно творит добро...

...Было воскресенье, конец весеннего солнечного дня. Ткаченко садился на скорый поезд, чтобы после непродолжительного отдыха в семье возвратиться в Москву, где он находился на шестимесячной учебе в высшей школе Комитета госбезопасности. Учились, доучивались и переучивались офицеры внутренней службы постоянно. На этот раз Роману Семеновичу особенно подфартило: направили его на престижную учебу на базе КГБ. После завершения школы Романа Семеновича ожидало очередное должностное повышение и очередное воинское звание.

В газетном киоске на перроне вокзала купил Роман Семенович свежую газету, вошел в свободное пока купе, осмотрелся, повесил плащ и присел у столика. Купе — уютное, чистое, воздух свежий, весенний поступал через приоткрытую часть окна. На краю нижней полки у входа стояли готовые к выносу вещи — модная польская «двойка» бежевого цвета и такой же дорожный портфель. На столике в аккуратной

хрустальной вазочке, что удивило Романа Семеновича, помещалось пять белых веточек ковровой вишни с полураспустившимися нежными плотно обсыпавшими прутики цветочками.

Устроившись, Роман Семенович, развернув газету, стал просматривать ее, отмечая про себя, что же надо прочесть в первую очередь. «Не пропустить,— сказал он себе,— передовую статью». Быстро пробежал глазами короткие информации, а из передовой статьи «Политика верная, ленинская» «неожиданно» узнал («Известия» преподносили как свежую новость!), что «народ уверенно идет за своим боевым, испытанным авангардом — партией, потому что знает: в руках у нее надежный компас — марксистско-ленинское учение. А огромный вклад в разработку теории вносит ЦК во главе с ленинцем Никитой Хрущевым».

В купе, кажется, будет их двое. Тот, второй, пока отсутствовал, а вещи приготовил к выходу, хотя ехать еще и ехать. Когда поезд тронулся с места, лязгнув своими железными сочленениями, в купе вошел мужчина лет сорока пяти, тот единственный пассажир купе, его старожил, сухо кивнул Роману Семеновичу, не здороваясь. Особого внимания на него Роман Семенович не обратил, это уже попозже, узнав, что едет со знаменитостью, стал он внимательнее присматриваться к нему. Одет незнакомец, пока незнакомец, в светло-серый костюм полуспортивного типа, в свитер. Хорошо сложен, даже спортивен, роста — выше среднего. О таком говорят: все на нем, и все при нем. У соседа по купе и попутчика — мягкие русые волосы с распадом по бокам, волосы, которые часто он и поправлял. Поперек лба — глубокая впадина, как от удара, ближе к правому глазу. Выражение лица — сосредоточенное, но скорее мягкое, чем строгое, у глаз — венчики морщин, глаза — светло-серые, но, как показалось Роману Семеновичу, они менялись в зависимости от «градуса» спора, в котором позже схлестнулись соседи-попутчики. Держался свободно, раскованно, чувствовалась в нем сила, властность, уверенность. Владел собой совершенно, речь — образная, правильная, грамотная, пересыпанная пословицами, поговорками, сравнениями.

Ехали некоторое время молча, но вот вошла проводница, средних лет красавица в железнодорожном форменном костюме, с обильными белыми кудряшками, крашеными, вся сияющая, и спросила, обращаясь ко всем сразу и отдельно к старожилу купе:

— Чайку принести? Не желаете еще чаю, Александр Исаевич? Или кофе?

Чаю они пожелали, и пару минут спустя он явился — горячий, хорошо заваренный, дымящийся, в серебряных ажурных подстаканниках. «Александр Исаевич, Александр Исаевич»,— мучился Роман Семенович.— Кого-то он мне смутно напоминает?» Но так и не вспомнил. И только когда нарочно вышел из купе, чтобы расплатиться за чай, услышал от проводницы:

— Да это же Солженицын! Он с самого Симферополя. Видели бы вы, как его провожали! Веточки в вазе — с Крыма, а цветы... Один букет вручил мне, другие передал женщинам нашего вагона...

Теперь Роман Семенович вспомнил: видел это лицо на обложке журнала «Роман-газета», где печаталась повесть «Один день Ивана Денисовича».

Припомнилось и вот еще что. Месяца два назад приглашали к себе офицеры учебного полка МВД выступать с лекцией известную в городе К. писательницу Наталью Степановну Смурыгину. Ее попросили рассказать о местных поэтах и прозаиках, о литературной жизни и книжных новинках. Тогда-то и рассказала она слушателям о нашумевшей повести из жизни заключенных.

Любопытнейшая обозначилась «мизансцена». Двое в купе: подполковник МВД-МГБ и бывший политический заключенный, зэк, а ныне — известный писатель. Беседуют вдвоем, без свидетелей, как сейчас говорят — без галстуков. Мы знаем, кто они, и они уже почти знают «кто есть кто». Послушаем и мы, уважаемый читатель, погадаем, кто из них первым включится в беседу, которая, наверно, будет

нелегкой, кто первым нарушит тягостное молчание. Говорят, окажись в подобной ситуации два англичанина, в продолжение всего пути и двух слов не скажут они, если кто-нибудь третий не представит их друг другу. Так и будут ехать молча, хоть тысячу верст...

А поезд все шел, гремели колеса, отсчитывая километры. За окнами вагона мелькали перелески, дачные домики, какие-то строения, полустанки... Роман Семенович продолжал шуршать газетой. Первый шаг-выпад, попытку завязать разговор, когда молчание слишком, до неприличия, затянулось, первую атаку предпринял Александр Исаевич, по праву писателя, «инженера человеческих душ», философа, и просто русского человека, а не какого-то там «аристократа» — англичанина.

— Извините,— сказал он. Его голос прозвучал резко.— Вот вы просмотрели передовую статью.— Не удивляйтесь, у меня уже был в руках этот номер «Известий». Какого мнения вы о статье? Вы член партии?

Вопрос для Ткаченко стал неожиданным, и пока он размышлял, как отреагировать на резкость, Солженицын сам же и ответил:

— Да, конечно, офицер не может быть беспартийным, иначе не будет роста, ничего не будет. Вот, фальшивая по сути коммунистическая идейность и идеология, помогающая милицейскому офицеру обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятия, а хвалу и почет...

— Вы неправы,— ответил шокированный неожиданным напором Роман Семенович.— Я обязан возразить...

— Не стоит,— пресек попытку Александр Исаевич.— И еще хочу спросить, уж не обижайтесь: на вашей совести наверняка есть пара-тройка тысяч жертв, замученных, с вашей помощью или вами лично. Вас их тени не мучают?

— Я знаком с вашей биографией, Александр Исаевич,— вдруг совсем спокойно ответил Роман Семенович, отложив газету.— Обязан вам сообщить, что я в прошлом тоже — фронтовик, офицер, около четырех лет воевавший, имеющий четыре боевых ордена, серьезные ранения, а сейчас — начальник штаба учебного полка МВД, но к тюрьмам, лагерям никакого отношения не имел и не имею.

— Воевали, боевые награды, зачем же пошли в услужение к...

— Везде нужны знающие, опытные люди. Я — оружейник, знаю все виды боевого оружия. Мы обучаем солдат и гражданским профессиям, связанным, например, с радио-, холодильной и другой бытовой аппаратурой.

— Не верю в порядочность людей вашей системы. Да, конечно, вы не крутили ручку кровавой мясорубки тридцать седьмого года, лет 15—16 вам тогда было, так?

— Будь мне лет поболее,— попытался пошутить Роман Семенович,— я бы тогда обязательно потребовал себе кожаную куртку и маузер...

— Вы сейчас каждодневно связаны со следователями, прокурорами, охраной... Вы — в одной обойме! Сегодня вы — оружейник, как утверждаете, а завтра, если партия прикажет, вы — начальник режима, начальник тюрьмы, лагеря, следователь... И если вы не палач, то потворствуете им, так называемым «ветеранам», заглядывая им в глаза, поздравляете с новыми орденами и медалями...

— Откровенность за откровенность... В сорок пятом, после победы и после моего излечения в военном госпитале, предложили мне высокую тюремную должность в Виннице. Не согласился я, вспомнив своего незаконно арестованного отца. Он, как потом признали, был ни причем. Если человек не виновен, ему нечего бояться...

— Так что же вас понесло в услужение к... краснопогонникам?

— Я был оружейником... А что касается облав, дежурств, охраны — мы — учебное подразделение...

— Одним миром мазаны.— Солженицын помолчал, поправил вазочку с вишневыми веточками.— Я вот добиваюсь, насколько хватит сил, чтобы каждый из таких,

как вы, хотя бы просто признал, хотя бы просто сказал: «Да, я — грешен, я — палач, я — убийца». И покаялся!

— Не в чем мне каяться!

— Ответственность наравне с другими вы не можете не делить! Я уверен, что надо так перестроить человечество, чтобы люди гордились только трудом рук своих и стыдились бы быть надсмотрщиками, «руководителями», партийными главарями...

Закончив тираду, Солженицын резко встал, едва ли не выбежал из купе, но неожиданно успокоился.

— Вот часто я задаюсь вопросом: способен ли ваш брат энкэвэдэшник или эмвэдэшник, хоть раз в жизни представить себя на месте подследственного или заключенного? Конечно, для этого нужно убрать незримую перегородку между собой и этим несчастным — подозреваемым, подследственным, заключенным...

— Думаю, да....

— Сомневаюсь. Для этого надо быть личностью! Хотите, пример. Император Александр Второй, да, тот самый, обложенный революционерами, семижды убивавшими его, как-то посетил Дом предварительного заключения в Петербурге, на Шпалерной, и в одиночную камеру № 227 велел запереть себя. Просидел в ней больше часа, хотел вникнуть в состояние того, кого он там держал. Это была нравственная потребность человека взглянуть на дело духовно! А теперь, можем ли мы представить кого-нибудь из вас, отмечающих профессиональные праздники, дни рождения, кто добровольно захотел бы влезть в арестантскую шкуру? Или у вас, у всех, уверенное заблуждение, что все заключенные — низкие, злорадные, бесчестные люди? А сколько из них просто запутавшихся, взятых «по ошибке»...

...Несколько слов о самом Романе Ткаченко. Он немногословен, говорит с легким украинским акцентом, не лишен юмора. Уверенность в себе, настойчивость в споре ему придают не только знание дела, опыт, но и хорошее образование. После войны он заочно окончил исторический факультет университета. (А в те годы в системе внутренних войск офицеров с высшим образованием можно было пересчитать на пальцах одной руки.)

Роману Семеновичу случалось, оставшись наедине, осмысливать свою жизнь. Были в ней ошибки, заблуждения, а было ли такое, чего не стоило делать, за что стоило бы упрекать себя, каяться?

...Война... 1944 год. Западная Украина... Война на освобожденной от немцев территории закончена, и началась война «со своими» — бандеровцами, оуновцами... А в распоряжении Романа Семеновича — оружие, много оружия. Целый склад, расположенный в лесу. И хоть и охранялся склад надежно,— часовые, проволочная ограда,— но лезут же за оружием. И приказал Роман Семенович начальнику склада артвооружения и часовым: «Как услышите подозрительный шум — бросайте гранату!» — «А если кто случайно будет идти, подвыпивший, просто заблудившийся?» — «Нечего тут слоняться случайным людям!»

Был свидетелем и такого жуткого события в танковом соединении, где он служил. Случилась поломка танка, и дальше он двигаться не мог. Подразделение танковое ушло, как и следовало ему, а танкисты остались в ожидании технической помощи. Вышли из леса, казалось бы, наши, русские: «Выходите, не бойтесь, свои». И расстреляли танкистов, казнили самым диким, бесчеловечным образом. Узнав это, с опозданием прибывшие танкисты буквально в щепки разнесли расположенный рядом хутор. «Был грех, один грех на всех... Война! Но не я же ее начал, не я ее придумал? — говорил себе в оправдание Роман Семенович.— Защищать Родину, защищаться самому — значило убивать!»

— Можно подумать, что вы безгрешны,— заметил примирительно Роман Семенович.— Недостатков — не имеете, «звездной болезни» не чувствуете, и поэтому сами не каетесь!..

— Я делаю так,— ответил серьезно Солженицын на шутливо прозвучавший вопрос,— чтобы не забываться, я в годовщину своего ареста устраиваю «День зэка». Отрезаю утром 650 граммов хлеба, кладу два кусочка сахара, наливаю незаваренного кипятка. А на обед прошу сварить мне баланды и черпачок жидкой кашицы. И бодро вхожу в старую форму, вспоминаю все, и уже к концу дня собираю в рот крошки, вылизываю миску... Я поклялся никогда не забывать вкуса баланды!

— Охотно верю! А после такого поста наваливаетесь на сало с чесноком, чем подкармливали вас ваши родные и близкие во время вашего пребывания в местах не столь отдаленных, чтобы вы не отощали... Или вы предпочитаете по бедности цыплят-табака?

Иногда выпады Солженицына были такими резкими, жесткими, обидными и просто нестерпимыми настолько, что Роману Семеновичу хотелось прервать разговор. Но он не делал этого, зная свою систему изнутри и зная, что Солженицын во многом прав, может быть, даже в главном. А потом, никуда и не денешься, купе — замкнутое пространство. Визави — это же сам Солженицын! Личность яркая, умница, краснобай... Несомненно, одарен от природы, но и человек, неспособный воздержаться от мести за пережитые невзгоды. «Впрочем, законченный антисоветчик,— думал Роман Семенович.— Явно — у человека крыша поехала от обид и перенесенных унижений».

Роман Семенович был начитанным человеком, сам когда-то баловался стихотворчеством. В свободную минуту любил полежать на диване со свежим журналом или модной книгой. Высоко ценил и знал многие произведения советских писателей, те, которые были у всех на слуху, о чем и сказал Солженицыну, и услышал:

— Советская литература за редчайшими исключениями — это гнусная литература, трубившая много лет на весь мир о достижениях страны социализма, распространяя враждебную человеку идеологию. Я уже почти не читаю, но знаю, что есть десяток-другой толстых журналов, две литературные газеты... Чушь! Не признаю их настоящими, да и следить за ними времени нет. Кого вы считаете за великих? Шолохова, Тихонова, Грибачева? Мерзавцы! Лжецы, фальшивомонетчики...

— Извините. Не ожидал такого от известного литератора! А Шолохова вам не стоило бы трогать,— нахмурился Роман Семенович.— «Тихий Дон», «Судьба человека», «Поднятая целина» — о них каждый школьник знает... Классик...

— Как раз классический пример того, когда надо говорить не об образованности писателя, а как раз об отсутствии элементарной грамотности и... порядочности... Навозная куча, которая, с которой...— Солженицын остановился, подыскивая сравнение...

Но закончить мысль не успел. В это время дверь отодвинулась и, постучав, в купе заглянул лейтенант, милиционер. За его спиной стояла улыбающаяся проводница, в коридоре топтался еще один милиционер, сержант, с огромной овчаркой на поводке. Углядев в купе офицера, лейтенант поспешно задвинул дверь. Александр Исаевич же вздрогнул и, как показалось Роману Семеновичу, втянул голову в плечи.

— Ну вот и они, голубчики,— проворчал Солженицын.— Как же без вас!!

Разговор прервался, и Александр Исаевич вышел из купе. В полураскрытую дверь Роман Семенович увидел Солженицына с горящей сигаретой в руке. «Нервы, однако! А я слышал от Смурыгиной, что Солженицын не курит и не пьет»,— подумал Роман Семенович.

Роман Семенович продолжал наблюдать, анализировать. Споря, Солженицын часто неожиданно и резко вскакивал с места, возмущался, и все время Роману Семеновичу казалось, что писатель играет какую-то роль. Для кого и для чего? По свойственному ему от природы актерству? А твердости в споре, убежденности, уверенности в свою мессианскую роль у Солженицына — хоть отбавляй!

Роман Семенович в этом плане проигрывал, позиция у Солженицына была пред-

почтительнее, как говорят шахматисты. Солженицын атаковал, в то время как Роман Семенович восхищался им. К тому же, что там ни говори, Солженицын часто был прав. Временами Роману Семеновичу казалось, что он вдруг видит перед собой другого человека с лицом замученным и печальным. «Актер, актер, несомненно — хороший актер!»

Для самого же Александра Исаевича была крайне неприятна и нежелательна любая встреча с милицией, с любыми подозрительными людьми. И боялся он не за себя. Никто не знал, и знать не мог, и не должен был знать, какую бомбу готовил Александр Исаевич. Об «Одном дне Ивана Денисовича» он говорил: «Первая крохотная капля правды разорвалась, как психологическая бомба. Что же будет в нашей стране, когда правда обрушится водопадами!» «Сотрясение общества сможет вызвать и начать литература! — считал Солженицын.— Появилась щель свободы, пролом. И вот в этот пролом двинулись Варлам Шаламов, Евгения Гинзбург, Гранкина, десятки других. Литература могла и должна ускорить историю!» Литературная деятельность ставилась писателю в вину уже по давнишнему следственному делу. А сейчас надо беречься, беречься. Но как удержишься, когда тебя распирает от возмущения? Когда так и хочется подраться? Сколько можно держаться, таиться и молчать?

А впереди должно быть что-то покрепче! Солженицын с 1964 по 1970 годы собирал материал и активно работал над «Архипелагом Гулаг», писал тайком, постоянно прятал собранный материал (за ним он и ездил в Симферополь) и написанное от КГБ, который, как он считал, и не без основания, следил за его деятельностью. Сам Солженицын друзьям говорил так: «Меч висит надо мной. Постоянно страшит то, что снова загребут меня. Страшила более всего гибель написанного и собранного. Статистически маловероятно, что нагрянут лоботрясы из госбезопасности, но это пока соблюдается пословица: «Никто в лесу не знал бы дятла, если бы не свой носок». А если нагрянут — то смерть всему».

А трудолюбие Солженицына, настойчивость, фанатичная уверенность в том, что он делает великое дело,— поразительны: «Вечерами, бессонными ночами я торопился мелко-мелко записывать, скручивать листочки по нескольку в трубочки, а трубочки заталкивал в бутылки из-под шампанского. Бутылки закапывал... Тут были стихи, пьесы, проза, заготовки для будущих книг. Ни в год, ни в месяц, ни в праздники, ни в отпуске,— говорил Солженицын друзьям,— у меня не было свободного времени».

Десять лет молчания! Кто хочет, попробуйте! «Писать, писать, писать,— и молчать! Не высовываться! А я — одерзел!»

II

— Вот я и хочу вас спросить,— сказал Солженицын, вернувшись в купе.— Вы повесть мою про Ивана Денисовича читали? И какого вы о ней мнения?

— Повести вашей я не читал,— ответил Роман Семенович и, кажется, огорчил Солженицына.— Но представление имею. И в нашем коллективе ее мало кто читал. Да и зачем? У нас выступала наша местная писательница Наталья Смурыгина, может, вы слыхали о ней.

— Нет, не имел чести быть знакомым. Но считаю, что прочесть и обсудить повесть вы были должны... Для вас же и писалась...

— Много книг сейчас выходит. Мы же — самая читающая страна в мире, за всем не уследишь.— Роман Семенович замолчал и крупными своими руками потер уже совсем лысую голову... Лысеть он начал давно, еще с первого курса вуза...

А в той лекции Смурыгина говорила так:

— Читать или не читать повесть — решать вам. В повести мастерски, надо отдать должное автору, показан тюремный быт, тюремный уклад. Отрицательно поданы

офицеры НКВД. Лейтенант Волковой, например... А надзиратели? Алчные, малограмотные люди, в грязных гимнастерках. Надзиратель по кличке Татарин,— худой и длинный, просто противен, у него безвольное мятое лицо, сдавленный голос, ходит в старой шинели с замусоленными голубыми петлицами. Да я вам лучше прочту отрывок из повести. Вот он сегодня дежурит, он — дежурняк, по-лагерному. Вот текст:

«Шухов проворно спрятался от Татарина за угол барака: второй раз попадешся — опять пригребется. Да и никогда зевать нельзя! Стараться надо, чтобы никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали же вот приказ по баракам — перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть... Сколько за ту шапку в кондей перетаскали, псы проклятые...»

Или вот еще отрывок.

«От штабного барака подошел начальник режима лейтенант Волковой и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волкового шмонавшие кое-как, тут зарьянились, кинулись, как звери... Волкового не то, что зэки, и не то, что надзиратели — сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот Бог шельму метит, фамильицу дал! — иначе, как волк, Волковой не смотрит. Темный, да длинный, да насупленный — и носится быстро... Поперву он еще плетку таскал, как рука до локтя, кожаную, крученую. Ею же сек, говорят. Или на проверке вечерней столпятся зэки у барака, а он подкрадется сзади да хлесть плетью по шее: «Почему в строй не стал, падло?» Как волной от него толпу шарахнет. Обиженный за шею схватится, вытрет кровь, молчит: каб еще не дал...»

А вот как водили заключенных: «А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну... Автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеется над зэками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные: тот надевает, кому на вышку идти...»

— Солженицын так описывает жизнь лагеря, будто там не было партийной организации. А ведь мы знаем,— подчеркивала Наталья Степановна,— что в любом подразделении, любом коллективе всегда есть партячейка. Хорошие работники всегда поощряются. В книге столько желчи, что кажется, будто автор специально натравливает народ против МВД.

— Мое мнение о повести? — сказал Роман Семенович.— Повесть оскорбляет солдат, сержантов, офицеров. Ну, был Волковой. Но теперь-то таких — нет! Народ — творец истории, а в повести он показан в виде «попок», «остолопов», «дураков»... А зачем обвинять охрану... Это — солдаты срочной службы... Мы далеко не святые. Но считаю, что у нас все равно меньше злоупотреблений, чем в любом другом советском учреждении...

«Диву даешься! Повесть он — не читал. Писательница, секретарь парторганизации, член общества «Знание» — не рекомендовала... И читать ему некогда, хотя у него, по его словам, отличная библиотека со всеми новинками. Не читал — а высказывает свое мнение! Чисто по-советски! Впрочем, один ли он такой?» И вспомнился Александру Исаевичу лейтенант Овсянников, командир взвода той роты, которой командовал Солженицын в последний год своей службы. Не часто приходилось Александру Исаевичу встречаться с таким благородным, родниковой чистоты человеком. Дружили, с одного котелка ели, укрывались одной шинелью. Офицерскую должность свою тот исполнял так, чтобы сохранить жизнь каждому своему солдату. В феврале сорок пятого Солженицына «загребли», Овсянников же, отслужив, окончил Ярославский пединститут, женился, стал... следователем госбезопасности. «Долго я его разыскивал, наконец, на второе или третье письмо он ответил. Я уже был автором «Ивана Денисовича». Нет, эту повесть он не читал! А зачем ему знать то, что с осужденными происходит? Писал мне,

что ни о прошлом не вспоминает, ни о будущем не задумывается. Со мной ему встретиться не захотелось. Зачем? Еще запачкаешься»...

— Понурая свинка глубок корень роет, а покорное теля двух маток сосет,— вслух сказал Солженицын.— Да, иные боятся даже в руки взять мою повесть. Сам Твардовский одиннадцать месяцев держал мою повестушку в своем сейфе, а опубликовал с большим опозданием.

Собеседники помолчали, напряженно слушая перестук колес то убыстряющего, то замедляющего свой ход поезда. Ветер проникал в окно, с приближением ночи в купе становилось прохладнее. И строго смотрели на разгневанных мужчин пять беззащитных курчавящихся вишневых веточек.

Вновь зашла та же широко улыбающаяся проводница и принесла чаю — уже по собственному почину. Увидев, как ей показалось, мирно беседующих мужчин, постояв минуту-другую и послушав диктора поездного радиоузла, долдонившего бесконечные поздравления и приветствия дорогому Никите Сергеевичу в связи с присвоением ему звания Героя Советского Союза, неожиданно сказала:

— Уши вянут...

Сказала — и вдруг замолчала, поняв, что сморозила глупость, сболтнула лишнего...

— А вам это не по сердцу?..

— Люди говорят, что у нас не газеты — а ресторанные меню. Одни приемы да проводы гостей... А радио? Лучше бы песни передавали...

— Над чем вы работаете теперь,— не удержался Роман Семенович от традиционного вопроса. Спросил примирительно.

Не хотел и не мог ответить Александр Исаевич. Все было тайна и секрет. Вспомнился ему один давнишний разговор на Лубянке. Там прокурору на подобный вопрос Солженицын ответил так:

— Литература? Что вы! Я давно забыл о литературе. Мечтаю заняться физикой!

Ничего не ответил Солженицын Роману Семеновичу, а сам подумал: «Так я перед тобой и откроюсь. Хоть чему-нибудь должна была нас научить тюрьма, хоть умению держаться... Не плачь, битый, плачь небитый...»

Роман Семенович, не получив ответа, спросил иначе:

— Вы, писатели,— дайте нам положительный образ, пример для подражания...

— Положительная тема сейчас — разоблачение преступлений и разрушение системы лагерей,— ответил Солженицын.— Правда жизни — вот главная тема и главный герой. Надо рассказать о положении в тюрьмах, в лагерях, о незаконных расстрелах, о ссылках... Обойдя эту тему — главной правды не напишешь. И мы пишем. Всем нам дышать нелегко, но мы выступим из моря, как 33 богатыря,— и возродится наша великая литература!

— И кто же они, эти «шлемоблешущие богатыри», как вы говорите. У нас на Украине, и вы это знаете, есть пословица: «Казала Настя як удасьця!» Подвиг народа — вот тема для писателя.

— Сам Твардовский, великий поэт и редактор, говорил мне, и не один раз: «Только не будьте идейным. Пишите так, как пишете!»

— Гонорары, наверное, отхватываете приличные,— спросил Роман Семенович, чтобы хоть как-то уесть Солженицына.— В сотнях тысяч экземпляров разошлась ваша повесть...

— Гонораром за книгу может стать решетка и колючая проволока. Не пришло еще время писать открыто. Причина тому — наша жестокая и трусливая потаенность, от которой, впрочем, и все беды нашей страны. И в гонорарах ли тут дело?!

«И в них — тоже, наверное,— подумал Роман Семенович.— Ведь всего час назад приводили вы, дорогой товарищ, слова Твардовского, будто бы сказавшего: «Моя сберкнижка — ваша сберкнижка».

В брызгах заходящего вечернего солнца, в потоках апрельского ветерка, поступавшего в чуть приоткрытую часть вагонного окна, весело раскачивались вишневые веточки, стоявшие в хрустальной вазе. Роман Семенович смотрел в окно. И впервые, кажется, обратил внимание на то, что тени, отбрасываемые деревьями,— голубые. Почему вдруг голубые?

Из коридора слышались голоса весело проходивших пассажиров. Смеялись. Наиболее любопытные — заглядывали в двери вроде бы случайно, на самом деле, чтобы взглянуть на живого знаменитого писателя.

... Гремели колеса, вокруг, насколько можно было видеть, раскинулись поля. Откуда они здесь, в Подмосковье? И снова — строительные площадки, склады, склады, окруженные высоченными заборами. Солженицын смотрел в окно и неожиданно рассердился: «Загородились...» И в очередной раз набросился на Романа Семеновича, продолжая его обличать. Так, наверное, орел, нет, скорее коршун, терзает, аж перья летят, попавшую ему в лапы птицу.

...Иногда градус спора падал, и попутчики беседовали вполне мирно, философствовали. Поговорили о людях-перевертышах:

— Это страшный вопрос, если отвечать на него честно.— Солженицын поправил вазочку с вишневыми веточками, сползавшую к краю. Побарабанил по столешнице пальцами.— Сам задумываюсь: когда и как человеческое переходит в нечеловеческое? Физики, к примеру, знают пороговые величины, как то: свечение газа, переход газа в жидкое, потом — в твердое состояние... Преодолевается какой-то порог... Злодейство — величина пороговая. Что-то срывается, соскальзывает, перейден порог — и нет человека, а есть палач, убийца... К такому переходу склонны чаще всего люди вашей системы...

— Такое может случиться со всяким,— возразил Роман Семенович.— С вами, например. Ошибки в нашей стране — устраняются, многое исправляется. А вы, по-моему, вы — просто людей не любите!

— В чем-то мог бы и согласиться... Жизнь приучила меня к плохому гораздо больше, чем к хорошему. В плохое я верю с готовностью. Я еще в лагере усвоил пословицу: «Счастью не верь, беды не пугайся».

— И я повидал в жизни много злого и нехорошего — сказал Роман Семенович.— «Голодомор» 30-х годов на Украине, в итоге чудом остался жив. На войне постоянно рисковал. В меня бросили гранату — во мне десятки осколков, которые врачи полгода выковыривали. Но не озлобился.

— Вы,— возразил Александр Исаевич,— не видели, не пережили и десятой доли того, что я. Об вас не вытирали ноги. Не издевались. И кто? Власти... А вы им простили все. Вы служите им. Вы их охраняете... Воля ваша. Из пустой души ничего не изречется!

Солженицын вышел, разгневанный, и в купе больше не зашел.

Поезд медленно подходил к Курскому вокзалу. Писатель, стоя у окна в коридоре вагона, курил, с кем-то беседуя. Когда поезд остановился, его вещи забрал его московский товарищ, пришедший встречать Солженицына.

«Поговорили!..— подвел итог всему Роман Семенович.— Ни тебе «до свидания», ни тебе «прощай». Ни разу даже по имени-отчеству не назвал, не спросил, как зовут... Хорошо хоть в итоге количество жертв, якобы загубленных мною, снизил до двух-трех сотен, в десять раз. Спасибо...».

— Ну вот я и в Москве,— говорил между тем Александр Исаевич товарищу, несшему его чемодан и дорожную сумку.— Не люблю я Москву. Суета. А через пару дней буду дома. Домой, домой, в укрывище! Чтобы не угодить в узилище. Поездка была трудная, но не бесполезная.

Накрапывал мелкий дождик.

— «Засыпал Шухов вполне удоволенный. И таких дней,— вдруг начал цитировать свою повесть Александр Исаевич,— было у него, Ивана Денисовича, аж три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось». Это я к чему? Столько лет прошло, а до сих пор с опаской, с недоверием смотрю я на эти голубые петлицы, на эти энкэвэдэшные погоны с голубыми кантами...

— Это ты о подполковнике из твоего купе?

— Да... Поговорили!.. Среди них есть, конечно, и неплохие люди, только служба у них — собачья. И образование, вроде, есть, скажем, мой визави до войны закончил два курса института в Киеве, потом военное училище, университет...

Жалел ли Солженицын о продолжительном общении с этим непонятно зачем подсевшим к нему человеком... «Все уготованное должно укипеть в очередную книгу... Ни одна блоха не плоха... Закон творчества — быть выше своего гнева и воспринимать сущее с точки зрения вечности. А я — кипячусь»,— «укорачивал» себя Александр Исаевич.

... А встречали писателя хорошо. Роман Семенович насчитал десятка три встречавших. Радостные лица. Цветы, восклицания. Вспышки магния при фотосъемках. Пользовался уже славой и уважением Александр Солженицын.

Как-никак — знаменитость!

III

Всегда бывает так, что когда уходит из жизни великий человек, разгораются споры, связанные с его именем, его идеями. Роман Семенович по выработанной десятилетиями привычке думать, решать, оценивать по команде свыше, решил еще раз обратиться к известной писательнице. С ее помощью он мог умнее объяснить себе и другим сложные проблемы литературы и литературного творчества. Старушка, а лет ей было далеко за 80, была жива и хорошо помнила то свое выступление сорокапятилетней давности перед офицерами МВД. В своей оценке творчества Солженицына,— а именно это волновало Романа Семеновича,— она была еще резче и еще непримиримее. «Как писатель,— сказала она,— он... так себе. Кроме двух-трех вещей — ничего выдающегося не написал. Не люблю я его, очень не люблю».

Столь негативное отношение объяснялось тем, что известная когда-то писательница — сейчас почти нищенствовала. Пенсия — на уровне выживания. Свою прекрасную трехкомнатную квартиру сталинского типа в элитном доме и с потолками более чем трехметровой высоты она разменяла на двух- и однокомнатную квартиры. Двухкомнатную отказала приемной дочери с маленьким ребенком, а сама ютилась в однокомнатной квартире.

— Солженицын сокрушался,— сказала Наталья Степановна,— по поводу того, что литература не ускоряет историю. Как бы не так — ускорила! Правда, и западные друзья помогли. И чего добились у нас демократы с помощью этого провокатора? Всеми силами он боролся против коммунистического гнета, а на смену ему пришел еще худший режим. Он сам, увидев результаты рук своих, ужаснулся: в тех же верхних эшелонах власти — те же рожи, гибрид уцелевшей номенклатуры, акул финансового подполья и лжепредпринимателей.

И такая власть, по мнению старой мудрой писательницы, сохранится не 70, а 170 лет.

— Изобрел какой-то «новояз». Ужас! Язык — натужный, вычурный, вымученный. Слова выдумывает и использует без всякого отбора, и понимаешь, что сам-то он лишен элементарного литературного вкуса и чутья,— возмущалась писательница.— Что это такое: «укорная, перебойчатая мысль»? Это издевательство над языком или над нами, читателями?

— Над чем работают писатели? Об этом спрашивают не только у нас, но и по

всей планете. Всюду кризис: в экономике, в литературе, кино, театре. Показали, описали, воспели педерастов, проституток, генерал-предателей,— и всем стало скучно! «Жить стало скучно, потому что умирать не за что»,— заявлял один из моих героев из романа «Совесть». В этом вся беда!

Не удержался Роман Семенович и спросил писательницу о положительном герое.

— Нет его в современной литературе. А он обязательно должен быть! Дурь, грязь проходят, а высота и чистота останутся!

... Ткаченко прослужил в одном и том же полку в одной и той же должности, в одном звании — подполковником, до самого ухода в отставку. Звание полковника дали ему «вдогонку», как участнику войны. Никуда он не рвался, потому и не вырос. Единственный его сын, Николай, как и отец, стал оружейником. Это становилось семейной традицией. Окончил Харьковское военное училище. Любопытно, что специалистом — оружейником — стал и внук Романа Семеновича, Игорь.

А в усмирении бунта заключенных Роману Семеновичу участвовать все-таки пришлось, хотя он когда-то и уверял Солженицына, что это не его дело. Подняли тогда школу по тревоге. Взяли взвод курсантов, выдали автоматы, посадили на автомобили — и вперед! Роман Семенович под свою ответственность выдал солдатам патроны с холостыми зарядами, офицеры, естественно, получили боевые патроны. Дела большого и не было: заключенные скоро и разбежались, увидев вооруженных солдат и услышав автоматные очереди. Роман Семенович получил замечание от генерала за «самодеятельность», но позже тот же генерал и одобрил действия Ткаченко.

Уволившись со службы, Роман Семенович еще более двадцати лет отдал службе гражданской, работая кадровиком. На «гражданке», познав и оценив «свободную» жизнь, Роман Семенович постепенно убеждался, что прав был Солженицын. Припомнились слова его: «Надо было врастать в умеренно-благополучную жизнь. Надо было не выделяться, быть образцовым советским гражданином, то есть всегда послушным любому помыканию, всегда довольным любым глупостям». Только вот секиры над своей шеей он, как когда-то Солженицын, не чувствовал. Скорее наоборот, его побаивались и даже сторонились.

Сейчас на девяностом году жизни он отдыхает. Получает приличную пенсию, далеко не маленькую, дай Бог всем такую. Через год ездит на курорты: и как ветеран, и как инвалид. Государство о нем заботится, оно не забывает тех, кто ему верно служил и служит. Уважает государство человека с ружьем. Кроме того, Роман Семенович почти ежегодно бывает у родных на Украине, в Винницкой области. Родственники его живут там бедно и завидуют Роману Семеновичу. Свою солидную библиотеку художественной, специальной и политической литературы Роман собирается продать и совсем не дорого, но покупателей не находится. Обладая крепкой, профессиональной, фотографической памятью, Роман Семенович помнит встречу со знаменитым писателем до деталей, но вспоминать о ней не любит. До пенсии Солженицына не читал, зато выйдя в отставку — восполнил упущенное. Но всю жизнь за судьбой писателя следил, знал, что тот был выдворен из страны, стал Нобелевским лауреатом, знал, что при Ельцине вернулся писатель на родину. Как многие помнят, по случаю восьмидесятилетия Ельцин наградил именинника орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Но Солженицын ордена не принял: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я награду не приму». «Надо же такое учудить,— сказал тогда Роман Семенович.— Впрочем, одобряю! Заметно к худшему меняется жизнь в стране».

А когда Александр Исаевич ушел из жизни, помянул его и добрым словом, и сотней граммов «фронтовых».

Ткаченко в том далеком шестьдесят четвертом году все ж прочел повесть об Иване Денисовиче. Оценил, но кое-что не понравилось в ней. Двадцать лет спустя книгу перечитал. И показалось ему, что она претерпела изменения. «Видимо, Солже-

ницын учел критику. А ведь каким непримиримым и непробиваемым он был тогда, сорок пять лет назад!»

...Вот и подошел к концу мой рассказ. Много у героев моего повествования общего: оба хорошо образованы, оба прошли богатую школу жизни. Да и возрастом почти не разнятся: Александр старше Романа всего на три года. Совпало и то, что оба именно в феврале победного сорок пятого оставили не по своей прихоти военную службу. Один, как мы знаем, угодил за колючую проволоку, другой — на службу в НКВД-МВД.

Встретились случайно, обидели друг друга — и разошлись непримиримыми. А по логике вещей, по русскому обычаю — обняться бы им, опрокинуть по стаканчику-другому чего-нибудь, что покрепче, поделиться пережитым, ведь воевали где-то совсем рядом... Не получилось. Не судьба. Знать самим небом предназначалась каждому своя особая роль. Могли бы пожать друг другу руки, сказать: «Я не прав, прости!», а сказалось: «Прав — я! Не прощу!»

А что могло их когда-нибудь примирить? И могло ли?

От главного редактора: *С творчеством Николая Александровича Мых-Степняка начал знакомиться со второго года издания межрегионального литературно-художественного и публицистического журнала «Приокские зори», главным редактором которого являюсь.*

Отбирая материал для комплектования журнала № 3, 2007, обратил внимание на стихи известного украинского поэта-«шестидесятника» Василя Симоненко в очень квалифицированном и адекватном переводе Н. Мыха-Степняка и поместил их в рубрике «Великая дружба». Далее в редакцию журнала поступили два его очерка, один из которых вошел в № 1, 2008. А совсем недавно прочитал свежеизданную (Тула: Левша, 2008.— 132 с.) книгу Николая Александровича «Больше всего я люблю истину... Пьеса для чтения и постановки на сцене» с подзаголовком, вынесенным на обложку: «Жизнь Л. Н. Толстого, рассказанная им самим и С. А. Толстой».

В активе у писателя также книга «Пятый урок Ибрая Алтынсарина: Документальная повесть», изданная в Алма-Ате, в издательстве «Кайнар» (1998 г.), а также большое число публикаций — рассказов, очерков, стихотворных переводов и исторических исследований — в различных изданиях периодики России, Казахстана, Украины, в том числе в журнале «Дружба народов» (Москва), в республиканских газетах «Крымские известия», «Казахстанская правда», в изданиях АПН и пр.

Как уже следует из названий изданий и издательств, Николай Мых-Степняк суть яркий представитель того, некогда мощного пласта населения 1/6 части земной суши, что с гордостью произносят песенные слова: «Мой адрес не дом и не улица; мой адрес — Советский Союз!»

Действительно, родился за год с небольшим до начала Великой Отечественной войны в небольшом поселке Кустанайской области Казахской ССР. Учился на железнодорожника в Актюбинске. В Советской Армии служил на Сахалине. Там же учился в Южно-Сахалинском пединституте, но высшее педагогическое образование получил в Уральском педвузе. И еще одно высшее образование (не нынешние два-три-четыре... «образования» за умеренную плату...) — факультет журналистики в ВПШ КазССР. Кандидат филологических наук. А с 2001-го живет в Туле. Вот такая география. И работа учителем, директором школы, журналистом, партработником, доцентом, зав. кафедрой ВУЗов.

...И постоянно из журналиста «перерастал» в писательское сословие. Как мне представляется, читая автобиографию Н. Мых-Степняка, что и образования в различных учебных заведениях он выбирал обдуманно, как существенное методологическое подспорье для серьезной литературной работы, время которой пришло (см. перечисленные выше издания).

С украинскими корнями, большую часть жизни проживший в Казахстане, человек высокой русской культуры, очеркист, драматург, поэт и писатель-прозаик...— в этом этнокультурном и жанровом переплетении важным представляется выявить творческую доминанту Николая Мых-Степняка. Многое здесь подсказывает и увлечение всей его жизни - изучение творческого духовного наследия Л. Н. Толстого. На сегодняшний день квинтэссенцией такого изучения-постижения у писателя является пьеса «Больше всего я люблю истину...». И в произведениях Мыха-Степняка четко прослеживается лейтмотив любви к истине, прежде всего в творчестве.

Василий Мишин
(г. Тула)

МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ

Возвращался Роман Петрович большаком, глотая раскаленную пыль, поднимаемую июньским ветерком, а когда показались вдали деревенские дома, свернул с него и прямиком подался через косогор, потом по лощине, по равнинному берегу речки. Хотя это было дальше, но зато теплом и радостью полнилась душа. Каждый бугорок, каждая тропинка здесь истоптана босоногим детством: та же самая трава стелется под ногами, тот же самый пряный запах, не выветренный временем. И речушка — бежит себе, плещется о равнинные берега, журчит на каменных перекатах. Никогда не забывал он о родных местах, во сне снились, звали к себе.

По едва заметной тропинке поднялся на крутой бугор и у первого встречного, а им оказался рыжий мальчуган, спросил:

— Скажи-ка мне, дружок, где тут у вас сельсовет?

— Да вон видишь дом кулака Авдеева? — и показал на середину деревни, где стоял дом, в котором располагался сельсовет. Эти слова сильно резанули Романа Петровича. Надо же — дом кулака Авдеева! Стало быть, не выветрились из памяти сельчан те, казалось бы, уже давние события.

— Чей ты будешь? И как тебя зовут?- спросил огорченно он мальчика.

— Я Гриша. Фроловых знаете?

— Ну как же мне не знать! — Роман Петрович помнил всех в деревне, помнил дворовые прозвища.

Подходя к бывшему своему дому, а вернее сказать, к отцовской усадьбе, он испытывал необъяснимое чувство волнения. По шатким скрипучим ступенькам поднялся на крыльцо и через прихожую вошел в комнату. Знакомый стол, знакомая обстановка, те же самые стулья, только сильно потертые и засаленные, беспорядочно расставленные вдоль стены. А лицо человека, сидящего за столом, кого-то напоминало.

— Здравствуйте! Я к вам по делу.

Тот, не вставая из-за стола, долго всматривался в неожиданного посетителя и, угадав, холодно произнес:

— Ты, что ли, Роман Петрович? Каким ветром к нам?

— Да вот вернулся в родные края. Куда же мне подаваться,— ответил Роман Петрович. Сразу по голосу узнал в сидящем за столом человеке односельчанина, активиста в кампании по раскулачиванию зажиточных крестьян — Семена Дубова. Для обоих неожиданной была встреча. Задав еще несколько вопросов, Дубов сказал:

— Ты на этот дом не рассчитывай, здесь теперь сельсовет. Селись на краю села. Там у нас пустует изба. Разберешься. Как у тебя с документами?

— Как же без них. Есть. Вот,— Роман Петрович протянул документы.

Семен долго их рассматривал и, не скрывая недовольства, сказал:

— Ты там времени даром не терял, раз оказался на хорошем счету и искупил свою вину перед Советской властью: хоть к награде представляй.

— Я ни перед кем не виновен.

Не стал дальше Роман Петрович продолжать разговор на эту тему.

Так и пришлось ему поселиться в старом брошенном домике. Обустроил его. И старуху свою, Матвеевну, привез. Ноги у нее болели, потому редко выходила на люди, больше дома сидела или копалась в огороде.

Роман Петрович — в деревне человек не пришлый. Здесь его корни. Дом, занятый сельсоветчиками, его родной дом. Раньше была усадьба, со стороны поля обнесенная небольшим земляным рвом. Стройный ряд старых ракит останавливал холодные северные ветры. Ракит уже нет, нет дворовых построек. Никому не нужным стал яблоневый сад. Теперь придется как можно реже ходить мимо нынешнего сельсовета, чтобы лишний раз не терзать себя воспоминаниями о прошлом, чтобы душа не болела по бывшей своей усадьбе и нынешней ее запущенности. Без хозяина, как говорится, дом сирота. Собственно, дом-то принадлежал его отцу. И раскулачивали отца, а не Романа Петровича. И не кулаком был отец, а просто справным, зажиточным крестьянином. Стал он поперек дороги местным активистам. Такие, как Семен Дубов, навесили на семью ярлык «кулака». В его понятии « кулак» — пособник врагу. Отняли скотину, отвели ее на общий двор. И имущество, хоть не богатое, а оно было. Растащили. Все пошло прахом. Хотя хозяйство теперь общее, но за ним нужно следить, как за своим личным. Без хозяйского пригляду вряд ли дела пойдут в гору. Одним словом — не свое, чужое. А кто раскулачивал? Партийцы. Какие они партийцы! Обыкновенные голодранцы, у которых ни кола, ни двора. Лодыри. Они на земле работать не умеют. А громче всех кричали во все горло:

— Кулачье! Отобрать! Выселить! Расстрелять!

Выселили. Семья Авдеевых была большая — отец, два сына с женами. Все работящие. Добрались до казахстанских степей — бескрайних, не тронутых плугом земель. Бог от рождения дал русскому мужику трудолюбие и терпение. Была бы земля-кормилица, а ее здесь вон сколько! На новом месте обустроились быстро, но нелегко далось это обустройство. Годы брали свое — помер отец. А Роман Петрович так и не смог свыкнуться с новым своим местожительством. Он понимал, что в родных местах, куда так рвалась душа, найдутся люди, которые будут держать камень за пазухой. Без молвы и пересудов, без косых взглядов не обойдется. Жена, Матвеевна, может, пойдет на поправку, возвратившись в родные края. Что только не придумывал, чтобы оправдать свое возвращение. И вот уехал. Взял с собой только самое необходимое. Всего не увезешь.

Не таил он ни на кого зла, но и любви не питал к установившейся власти. Хотя понимал — она навсегда. Время исцеляет, рассеивает сомнения, притупляет обиды, если они и были. Понимал также: от ярлыка «классовый враг» никуда не денешься.

Жизнь на селе шла своим чередом. Люди работали в поле, на ферме. Бывшие мальчишки выросли и стали парнями. Гоняет по улицам малышня, родившаяся уже в отсутствие Романа Петровича. Стал потихоньку таять холодок во взаимоотношениях с сельчанами. Другие люди пришли к руководству деревней. За это время кто-то выслужился и пошел в гору, кого-то сгубила бремя власти, кто-то был раздавлен самой властью.

О войне люди не думали. А вот там, наверху, знали, что не миновать войны, но оттягивали ее как могли. Время нужно было на подготовку. Только случилась она неожиданно, и застала всех врасплох. Райвоенкомат успел произвести мобилизацию всех призывных возрастов. Поредела деревня. Слез пролито было немало на проводах в армию. Затихли деревенские вечеринки с танцами, посиделками. Ушли на фронт гармонисты.

Немец шел по стране, железной мощью уничтожая все на своем пути. Казалось, ничем не остановить его. Дошел до родной деревни Романа Петровича, черной тенью накрыв ее. С грохотом проносились по улице машины, тягачи с пушками, в серых

шинелях мышиного цвета топтали деревенские улицы немцы. Люди старались поменьше выходить из домов. Дом, в котором раньше располагался сельский совет, теперь заняли немецкие власти.

Вызвали в комендатуру и Романа Петровича.

Немецкий офицер усадил его напротив, похлопав покровительственно по плечу, через переводчика говорил:

— Мы знаем про тебя все. Коммунисты отняли у тебя дом, убили отца, в тюрьму тебя посадили. Мы все тебе вернем — землю, дом, хозяйство. Будешь старостой. Ты ведь этого хочешь?

Не сразу дошло до Романа Петровича, что от него хотят. Никто его не слушал, не спрашивал на это согласия. Зачем ему власть? Всю жизнь сам ходил под чьей-то властью. Неужели на старости лет и в его руках будет власть? А зачем она ему эта власть?

Пришел домой. Из головы все равно не мог выбросить разговор в комендатуре. Что только не передумал. Чем больше предавался размышлениям, тем муторнее становилось на душе. Староста. Он хорошо понимал, чем придется заниматься. Что будут думать о нем сельчане? Голова шла кругом.

Новый немецкий порядок действовал вовсю. На постой немцы становились в лучших домах, безжалостно вышвыривая на улицу их прежних обитателей. Вчера расстреляли двух комсомольцев, двух молодых парней. Они взорвали склад с горючим. Знал их Роман Петрович, жалко было ребят. Немецкий офицер в бешенстве кричал на него:

— Где списки коммунистов и комсомольцев? Где списки семей, у которых родственники в армии или в партизанах?

Однажды попробовал было заступиться Роман Петрович за Наталью, мать троих детей, у которой последнее выгребли из закрома. Засмеялся немец, снисходительно похлопал его по плечу:

— Не надо расстраиваться, господин староста. Не стоит их жалеть.

Пришло окончательное понимание планов оккупационных немецких властей: уничтожение мирного населения. Уничтожение руками обиженных или недовольных Советской властью.

Самого Романа Петровича никто никогда не жалел, но всякую снисходительность к себе он воспринимал как оскорбление.

Жизнь в деревне продолжалась по законам военного времени. Немцы вгрызались в землю, закрепляясь на данном участке. Однако их позиции подвергались почти ежедневному обстрелу. Случалось, что крайние дома деревни переходили из рук в руки. Шли бои местного значения.

Роман Петрович был дома. Матвеевна расспрашивала его о деревенских новостях. Не любил он об этом говорить. Неспокойно на душе, неспокойно на улице. Участилась что-то стрельба. Подойдя к окну, наполовину замороженному, он увидел бегущих немецких автоматчиков. С воем пролетел снаряд, ударился о мерзлую землю. Высокий черный столб поднялся на том месте. Перестрелка перешла в бой.

В это время разведывательный отряд красноармейцев под прикрытием артиллерии пошел на прорыв немецкой обороны как раз в направлении домов, расположенных на краю деревни. Роман Петрович стоял в простенке между окнами. Дзинькнула пуля, пробив замороженное стекло. Оно не разбилось, только от круглого отверстия в нем разбежались во все стороны мелкие лучики. Выглянув еще раз, он увидел еле заметные фигурки красноармейцев в белых маскировочных халатах, залегших на дальних подступах к деревне. Короткими перебежками, поддерживаемые артиллерией, они теснили немцев. Но вот над головой Романа Петровича застучал пулемет. Стоило только поднять голову наступающим или сделать рывок, как пулеметная очередь с чердака прижимала их к земле. Роман Петрович видел, что атака может за-

хлебнуться. Сколько поляжет ребят! А как им помочь? В жизни может наступить такая минута, когда в одно мгновение созреет неожиданное решение, от которого будет зависеть не только жизнь людей, ради которых принято это решение, но и твоя. Не задумываясь в правильности принятого решения и его последствиях, он метнулся в сени. В руки попались вилы. Быстро, по-стариковски, поднялся по лестнице на чердак. Перед ним, распластавшись и широко раскинув ноги, за пулеметом лежал немец. Из чердачного окна хорошо просматривалось заснеженное поле. Все как на ладони. Видны наши бойцы в белых маскировочных халатах, залегшие среди снежных заносов. Короткими очередями гитлеровский пулеметчик прижимал их к земле. Встал Роман Петрович над фашистом. Что дальше делать? Как убить? Перед ним человек, хоть и враг. Не был Роман Петрович на войне, потому не приходилось стрелять в людей, тем более убивать да еще вилами. Сколько за всю жизнь этими вилами наметано стогов сена, заскирдовано соломы! Вся жизнь связана с косою, граблями, плугом да вилами. А тут вот такое дело. Не помня себя, он закричал:

— На-а-а!.. Получай, иуда!

Ошеломленный этим криком, немец вскочил. Увидев старика с вилами, опомнился, и в считанные секунды схватил рядом лежавший пистолет.

Роман Петрович с силой вонзил занесенные вилы...

Скоротечный бой закончился. Разведывательный отряд на плечах немцев, ворвался в деревню, отбросив их на другой берег речки. Разгоряченные боем, в избу вбежали бойцы отряда и прямиком на чердак.

— Это ты его, отец?

Понятно было без слов — кто же еще.

Спустились вниз. Изба была переполнена бойцами. Дым стоял коромыслом. Перевязывали раненых. К Роману Петровичу подошел, судя по погонам, капитан, крепко пожимая руку, обнял:

— Спасибо за помощь! От командования, от солдат, от себя лично выражаю благодарность.

Благодарили солдаты. Кажется, впервые за долгие годы жизни, так был счастлив Роман Петрович. Расспрашивал о жизни на той, на не оккупированной немцами стороне, о положении на фронтах. Оказывается, бьют немца, да еще как бьют. Фашистским зверствам на оккупированной территории скоро придет конец, настанет час расплаты за все.

— Будем ходатайствовать о представлении вас к награде,— сказал капитан, крепко обнимая Романа Петровича и пожимая руку.

Выполнив разведывательное задание, и взяв «языка», отряд под покровом вечерних сумерек, отстреливаясь от наседавших фашистов, покидал окраину деревни.

— Может, с нами пойдешь, отец? — звали с собой бойцы.

— Куда мне старику с вами. Не один я, жена больная,— говорит Роман Петрович.— А вы поскорее возвращайтесь!..

Теперь снова окраина деревни в руках немцев. Они осматривали каждый дом, каждое строение — не остались ли в засаде русские солдаты. Ожесточенно избивали мирных жителей. Ворвались в избу Романа Петровича, схватили его и устроили допрос:

— Говори, ты убил немецкого пулеметчика?

Отпираться не было смысла, кроме него некому было убивать.

— Я,— говорит Роман Петрович.

— Зачем ты сделал это?

На этот вопрос не смог он ответить. Ни к чему тут высокие слова, если бы даже он их и знал. Ненависть к врагу? А что такое ненависть? Он знал одно — перед ним нелюдь, который незвано пришел на его родную землю. Пришел разорять, грабить, убивать. Он должен за все ответить.

— Коммунист? — кричит взбешенный немецкий офицер.

Роман Петрович во время допроса прямо смотрит в лицо фашиста. А тот, не выдержав этого взгляда, нервничает, вскакивает, тычет перчаткой в грудь, брызжет слюной. «Какой я коммунист,— думает Роман Петрович.— Коммунист тот, кто боролся за Советскую власть, коммунист тот, кто с оружием в руках воюет с фашистами. Вот красноармейцы — они, коммунисты».

— Ты коммунист! — снова кричит немецкий офицер.

Не может, не имеет права причислить себя к коммунистам Роман Петрович и не успевает ничего ответить, как снова крик немца:

— На колени!

Сжав кулаки, с высоты своего роста, смотрит Роман Петрович на взбешенного офицера. Перед кем вставать на колени? Перед ним? Никогда!

— На колени! — снова командует немецкий офицер. Забегал по избе, гремя подковами начищенных до блеска сапог.

Никогда ни перед кем не стоял Роман Петрович на коленях. Понял он, что пришел час смерти, и в последний раз уничтожающе посмотрел на окруживших его фашистов. Тогда гитлеровец подал рукой знак конвоиру. Тот со всего размаха прикладом винтовки ударил по пояснице Романа Петровича. Хрустнуло что-то там и он, теряя сознание от нестерпимой боли, стал медленно заваливаться на бок. Последнее, что услышал:

— Расстрелять!..

Сползла с полатей Матвеевна, упала без чувств на Романа Петровича:

— Что они с тобой сделали! За что они тебя убили! Господи, на кого ты меня оставил, как мне теперь без тебя жить. Возьми меня с собой!

Долго еще она оплакивала мужа. Тому свидетели — осиротевшие стены избы да божница в красном углу...

Прошло три дня. Заметили соседи — никто не выходит из избы Романа Петровича, и самого старосты не видно, должно быть что-то случилось,— подумали они. Сами войти в избу не решились, как никак, к самому старосте идти-то. Послали Гришу, самого бойкого мальчишку. Он сразу же вернулся. Опустив голову, сквозь слезы выдавил:

— Умерли дядя с тетей.

Зашли в избу соседи. На земляном полу рядышком лежали бездыханные тела Романа Петровича и Матвеевны. Никто не знал, какую мученическую смерть приняли Авдеевы и за что.

Погост далеко, на той стороне речки. Туда везти не на чем и некому. Выкопали могилу за околицей. Хоть и служил старостой у немцев Авдеев, а человек он хороший был, никого не выдал, потому и зла на него никто не таил. Решили — хоронить надо их вместе. Вместе приняли смерть — вместе и лежать в одной могиле, под одним крестом.

Вскоре Красная Армия очистила деревню от немцев. Командный пункт расположился в бывшем здании сельского совета. Военные стали разыскивать Авдеева Романа Петровича. Прояснились подробности его гибели,— зверски был замучен фашистами.

До этого никто в деревне не знал о поступке Романа Петровича. Оказывается, во время одного из рейдов нашего разведывательного отряда он убил фашистского пулеметчика на чердаке своего дома, тем самым спас десятки жизней советских солдат. За это он был представлен к награде медалью «За отвагу». Только вот кому вручить ее теперь?

Перезахоронили их на деревенском погосте. А медаль осталась в сельском совете как память об Авдееве Романе Петровиче.

Борис Кобринский
(г. Москва)

МИРАЖ
(Петроград 1917-го)

Борис Аркадьевич Кобринский родился в 1944 г. в Москве. Образование получил во 2-м Московском медицинском институте и Московском институте радиотехники, электроники и автоматики. Автор более 400 научных работ, в том числе 12 книг. Член редакционных коллегий ряда отечественных и зарубежных научных журналов. В течение ряда лет совмещает литературную работу и научную деятельность, является руководителем Медицинского центра новых информационных технологий Московского института педиатрии и детской хирургии. Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук и Международной академии информатизации. Один из ведущих специалистов в области медицинской кибернетики и информатики. Лауреат литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова за 2009 год.

Ранее публиковались отрывки из воспоминаний и литературоведческое эссе.

Я снова
В давно минувшем живу

Бусон

И поспешили снизойти
Ко мне видения толпою...

А. Чижевский

Цель искусства, цель жизни,
может, только в том и состоит,
чтобы увеличивать совокупность
свободы и ответственности,
присущих каждому человеку и миру в целом

Альбер Камю

Хмурый день второй половины октября, идет дождь. В Мариинский дворец, на очередное заседание собираются члены Временного Совета Российской Республики, более известного как Предпарламент. Среди них можно видеть Веру Фигнер, участницу покушения на Александра II, и октябриста Александра Ивановича Гучкова, «бабушку русской революции» Екатерину Константиновну Брешко-Брешковскую и представителя военного флота Ивана Михайловича Баженова, основателя группы «Освобождение труда» Георгия Валентиновича Плеханова и известного кадета Павла Николаевича Милюкова, знаменитого писателя Леонида Андреева и одного из руко-

водителей партии эсеров Виктора Михайловича Чернова, видного меньшевика Федора Ильича Дана и философа Николая Александровича Бердяева, автора первого «Манифеста РСДРП» Петра Бернгардовича Струве и Николая Васильевича Чайковского, под именем которого вошел в историю народнический кружок «чайковцев». С 7 октября, дня первого заседания Совета, не прошло еще и месяца их совместной деятельности. Практически все члены этого органа поддерживают принцип народовластия, но как далеки друг от друга бывают их взгляды на решение конкретных вопросов. И это при том, что крайне левые — фракция большевиков — вообще отказались от участия в его работе, заявив еще на первом заседании устами Троцкого, что «с этим правительством народной измены и с этим Советом контрреволюционного попустительства мы не имеем ничего общего».

Сегодня, 24 октября, на заседание должен приехать глава правительства Александр Федорович Керенский. Но начало как всегда затягивается. Собираясь группками, члены Предпарламента негромко беседуют. Слышно как в разговорах члены Совета вновь возвращаются к проблеме кризиса фронта, находясь под впечатлением недавнего выступления военного министра генерала А. И. Верховского, в котором он так обнаженно, как никто до него, говорил о жутком состоянии армии, о неминуемой катастрофе, намекал на необходимость переговоров с союзниками о мире. Тем более сейчас все указывает на большевистскую угрозу и невольно вспоминаются слова Церетели на Первом съезде Советов, что контрреволюция «может ворваться через большевистские ворота». И это видится все более реальным, ведь 18 октября в горьковской «Новой жизни» было опубликовано письмо старых большевиков Каменева и Зиновьева против решения о большевистском восстании. Значит, ленинцы все-таки готовятся нанести удар.

О чем-то разговаривают, стоя у колонны, Юлий Осипович Мартов с Германом Владимировичем Шубом. Они встретились, еще не войдя в зал, перекуривая перед заседанием. Оба заядлые курильщики. Юлий обычно вообще не выпускает папиросу, он прикуривает их одну от другой, не давая предыдущей погаснуть, так он привык в течение многих лет. Поблескивают пенсне. Особенно сильно бликует оно у Мартова, который говорит энергично, с жаром, жестикулируя, чуть заикаясь, глядя снизу вверх своими умными глазами на более высокого друга. Сейчас в его лице нет и намека на мягкость и грусть, свойственные ему в спокойной обстановке, не проглядывает в его словах и свойственная его речи ирония. Герман напряжен, но в его лице и фигуре нет той лихорадочности, которая сжигает темпераментного Юлия. Хотя глаза выдают напряжение.

Шуб всегда собран внешне и внутренне. Таким он был и мальчишкой, членом еврейской самообороны в Минске, и юношей на пресненской баррикаде в 1905. Он значительно моложе Мартова, но это не очень заметно, так как он выглядит много старше своих лет. Но при этом, по типу общения можно догадаться, что они не только единомышленники, но и друзья. Их знакомство восходит к 1913 году, когда Юлий между двумя эмиграциями жил в Петербурге.

Сегодня у них нет расхождений в отношении того, что еще может изменить общую критическую ситуацию и остановить надвигающийся переворот. Герман настойчиво говорит о том, что время не терпит и необходимо потребовать от власти экстренных действенных мер, а не ожидания решений будущего Учредительного собрания. Хотя бы,— подчеркивает он,— следовало принять проект закона Чернова-Маслова о переходе земли до Учредительного собрания в распоряжение земельных комитетов. В развитие этой мысли Юлий как бы продолжает начатую фразу:

— А если мы этого не добьемся от нынешнего правительства, то будем иметь дело с новым, крайне левым, ленинским. Время и так почти упущено.

Друзей отличает способность быстро схватывать чужую мысль, разбираться в

сложных вопросах текущих событий. Оба не сомневаются в том, что нельзя дальше откладывать созыв Учредительного собрания, что необходимо добиваться от правительства и, в первую очередь, от его главы, быстрых и ответственных решений. А может быть, и передачи власти в руки однородного социалистического правительства из представителей тех партий, которые согласятся с этим, и независимых.

— Нам нужен уже не только лозунг «Всей демократии вся власть», нам нужно всеобщее единение во имя спасения революции,— чуть сильнее заикаясь говорит Юлий.

— Мы стоим на краю бездны,— теперь уже взволнованно, но жестко, произносит Герман,— и готовы свалиться туда при малейшем толчке, которым может быть еще одна попытка переворота со стороны право- или лево-радикальных сил. И кроме вопроса о земле нужно тотчас же решать проблему перемирия или даже мира на любых условиях. Только этим можно удержать от взрыва фронт.

В вопросе войны и мира они придерживаются центристских позиций, не принимают лозунга поражения «своего» правительства, хотя и не считают его своим с идейных позиций.

В это же время сидящий недалеко от них Николай Васильевич Чайковский, член Президиума Предпарламента, продолжает обдумывать новые доводы в пользу первостепенного решения вопросов обороны страны, о чем он говорил здесь с трибуны 12 дней назад.

Диссонансом по отношению к собравшимся здесь взволнованным людям выглядела эта роскошная зала с беломраморными колоннами и хрустальными люстрами, место заседаний Государственного совета Российской империи, хотя со стульями вместо кресел и затянутой холстом картиной Репина «Торжественное заседание Государственного совета». Этот зал как будто отталкивал их, привыкнув к чинно-спокойным обсуждениям другой публики. Быть может, поэтому многим из них не давалась здесь наступательная, свойственная в прошлом, позиция. Но, скорее всего, причиной было то, что помыслы их были разнонаправлены, и потому отсутствовала единая, их объединяющая, воля.

А между тем в будущем, которого не могли знать собравшиеся в этом зале, но представляли они его по-разному, большинство из них будут названы новой властью врагами революции, якобы неспособными на отказ от прошлого, от сотрудничества с так называемыми нетрудовыми элементами. А так большевики называли не только владельцев крупных и мелких предприятий, магазинов, лавочек, но и большинство российской интеллигенции, независимо от ее политических взглядов.

Между тем разговор двух друзей продолжается. Они говорят о том, что вера в революцию, в социалистическое будущее не исключает сомнений в способе и сроках достижения поставленных целей:

— Ты ведь помнишь Герман, что Маркс, говоря о переходе к социализму, предполагал определенный уровень политической культуры широких слоев населения европейских стран.

— А в России, которая всего лишь чуть более полувека назад отказалась от крепостного права, тем более требуется эволюция и сознания, и культуры, — произносит Герман, как бы размышляя.

— Да, для нас это утопия, а может быть, и преступление, — поддержал его Мартов.— И ленинское жесткое противопоставление классов — путь к гражданской войне. Я сейчас просто не понимаю Ильича, который тащит нас в пропасть. Хотя конспиративные партии бланкистского толка всегда склонны к радикальным действиям и призывам.

— Вспомни, Юлий,— продолжал Шуб,— что недавно умерший Максим Максимович Ковалевский, любимый народом историк, обращал внимание на политические

порядки, которые не могут быть перевернуты вверх дном без того, чтобы не причинить народу тяжких ранений. А сейчас Россия еще и больна от войны, и вылечить ее можно только скорым миром. А иначе, как в «Чертовых качелях» у Федора Сологуба: «Взлетим мы выше ели и лбом о землю трах».

Юлий соглашается с ним:

— Во время войны особенно сложно перестроить жизнь, а именно к этому зовет Ленин, призывая к войне классов, к гражданской. В то время как мы, социал-демократы-интернационалисты, призываем вырвать Россию из объятий войны.

В возбуждении Мартов произносит несколько громче:

— Или мы спасем революцию путем экстренного прекращения войны любым путем, или — большевистский переворот.

На эту фразу неожиданно откликается подошедший руководитель социал-демократической фракции Совета Республики Ф. И. Дан. К удивлению Мартова и Шуба он говорит:

— Необходимо срочно переломить сознание масс, что невозможно без мира и решения вопроса о земле.

Это так на него не похоже, что они не сразу отвечают. Но потом, перебивая друг друга, говорят о необходимости срочного объединения всех сил в Предпарламенте и в союзах для давления на правительство, чтобы объявить перемирие и передачу земли сегодня.

— И затем срочно решать продовольственный вопрос,— добавляет подошедший Федор Череванин.

Эти разговоры отражают изменение в психологии членов Предпарламента, их озабоченность складывающейся в Петрограде и на фронтах ситуацией, ощущение надвигающейся грозы.

Однако заседание уже началось с доклада министра внутренних дел А. М. Никитина. Около 11 часов неожиданно для всех, привычно быстрой походкой в залу вошел председатель правительства А. Ф. Керенский. Нельзя не заметить особую бледность его лица с воспаленными от бессонницы глазами. Он мрачен, хотя и возбужден, и немедленно обращается к председателю Совета Николаю Дмитриевичу Авксентьеву с просьбой предоставить ему слово для срочного сообщения.

Его речь была быстрой, но несколько рваной, с паузами между фразами. Своим излишне резким голосом, хотя и без присущей ему театральности, он начинает свое выступление. Говорит твердо и достаточно громко, хотя иногда сбиваясь и повторяя свою мысль:

— Россия переживает драматический момент. Всего неделю назад я предсказал, что столкновение с властью произойдет скоро, и весьма решительное. И я был уверен, что правительство справится с выступлением большевиков, что ему обеспечена поддержка питерского гарнизона. Увы, военное руководство Петрограда оказалось безвольным. А многие полки заняли выжидательную позицию. В такой ситуации возможна победа активного меньшинства, руководимого ленинцами.

И неожиданно для присутствующих он указывает, что правительство только что определилось в вопросе о передаче земель в распоряжение земельных комитетов и о необходимости решительно и точно определить задачи и цели войны, то есть поставить перед союзными державами вопрос о мире. Так и кажется, что Керенский подслушал приведенный выше разговор Мартова, Шуба и Дана.

А министр-председатель продолжает говорить о том, что предлагаемые правительством решения должны изменить ситуацию. Невольно обращает внимание, что сегодня не видно его обычного самомнения, так возросшего в период революции вследствие истерически-восторженного отношения к нему на митингах и улицах столицы. Он приводит бесспорные доказательства подготовки восстания большевиков против прави-

тельства, сопровождая их цитатами из статей Ленина последних дней в газете «Рабочий путь», и просит революционную демократию противопоставить свои силы вооруженным рабочим отрядам для того, чтобы справиться с поднимающимся слева валом.

Значимость этого обращения становится еще более ясной, когда Керенский говорит о том, что военно-революционный комитет большевиков предписал полковым и ротным комиссарам привести полки в состояние боевой готовности и ждать дальнейших распоряжений. В этот момент заместитель Председателя правительства А. И. Коновалов передает ему листок бумаги, оказавшийся копией документа, рассылаемого ВРК по полкам. После его прочтения, Александр Федорович с каменным лицом произносит:

— Часть населения Петрограда уже находится в состоянии восстания.

Понятно, что у него произошел перелом в отношении большевиков, и он перестал воспринимать их партию как один из отрядов революционной демократии. Сейчас глава правительства говорит о них, как о контрреволюционерах:

— Попытку переворота со стороны большевиков я могу охарактеризовать, повторив вопрос Павла Николаевича Милюкова, заданный им с думской трибуны в 1916 году по поводу царского режима: «Что это? Глупость или измена?».

И, как бы отвечая, Керенский продолжает:

— В любом случае, сегодня — это измена революции!

И резко возвысив голос:

— Я обращаюсь к членам Совета Республики за содействием. Я прошу от имени страны, я требую, чтобы сегодня в этом заседании Временное правительство получило от вас ответ, может ли оно рассчитывать на поддержку этого высокого собрания? Я призываю вас приложить все силы, чтобы спасти государство и свободу! Я предлагаю всем партиям и группам, представленным в Предпарламенте, немедленно обратиться к своим членам и призвать их выступить в поддержку Революционного правительства. Только народные массы могут спасти сейчас революцию, как это было в июле. Временное правительство и я в том числе, предпочитаем быть убитыми и уничтоженными, но жизнь, честь и независимость государства мы не предадим. Все, кому дороги свобода и революция, должны сплотиться с полным взаимным доверием!

Он закончил. И подавляющее большинство, встав, свидетельствовало этим о своей солидарности с Временным правительством.

Выходя из залы, Керенский почти столкнулся с идущим ему навстречу Н. Н. Сухановым, газету которого он недавно закрывал. Приостановившись на секунду, он затем сделал шаг и с мрачным видом протянул ему руку.

В перерыв фракции обсуждали формулу объединения. Это, кстати, отвечало давней, еще с 1912 года, мысли Керенского о создании единого фронта либералов и социалистов.

После перерыва начались прения. Все говорили коротко. Было понятно, что времени на споры нет. Первыми, один за другим, на трибуну поднялись меньшевик Дан и эсер Гоц. И одинаково неожидан был тон их речей. Необходимы срочные меры в пользу крестьян, рабочих, солдат. Мир и передача помещичьей земли местным земельным комитетам, ускоренный созыв Учредительного собрания для утверждения принимаемых решений. Только так можно перехватить инициативу у большевистских агитаторов и сместить чашу весов настроения большинства населения в сторону демократических партий.

Дан призывает потребовать от правительства немедленного обращения к союзникам с предложением срочно открыть переговоры о всеобщем мире. Но при этом он подчеркивает:

— Революционная демократия чувствует себя на краю пропасти, куда ее толкают объективные условия, но туда же хотят бросить ее и наши товарищи слева, объеди-

нившиеся вокруг Ленина. Грозящие вооруженные столкновения означают не торжество революции, а торжество контрреволюции, которая сметет не только правительство, но и все социалистические партии. Спасение возможно сейчас только при опоре на силы революционной демократии в самом широком смысле. Нужно железной рукой принудить большевиков покориться воле большинства. Мы должны объединиться и создать Комитет спасения Родины и Революции.

Он заканчивает выступление напоминанием о своей июльской речи, где еще тогда указывал, что не считает «правительство идеальным, но если создались условия, при которых страну может спасти только это Правительство, то мы должны его поддержать».

Плеханов говорит о скатывании большевиков-ленинцев на позиции анархо-синдикализма, о забвении марксистской теории перехода к социализму и попытках подменить движение пролетарских масс заговором руководства партии. Он призывает все революционные силы сплотиться для защиты февральской революции, давшей народу свободу, спасти страну от опасности преждевременного социалистического переворота. Он указывает на пагубность в текущий момент психологии защиты и полуподдержки ленинцев как одного из отрядов революционной демократии. Одновременно он соглашается с Даном и Гоцем в необходимости экстренного прекращения войны и считает необходимым обратиться к солдатам, рабочим и крестьянам с разъяснением по поводу мира, решения продуктовых вопросов, сокращения рабочего дня и передачи земли.

Обаятельный даже в этот момент Церетели темпераментно обращается к членам Предпарламента:

— Всякий, кто восстанет против большинства революционной демократии, является врагом революции. Необходимы экстренные меры. Власть должна справиться с анархией, ибо она грозит стране гибелью. Надо спасти страну от большевистской угрозы анархо-синдикализма. И это спасение может быть достигнуто только единением большинства революционной демократии и всех живых сил страны. Мы должны призвать своих сторонников срочно выйти на улицы и преградить путь большевистским отрядам, показать им силу поддержки революционного правительства. Сегодня или никогда!

На трибуну, прихрамывая, поднимается «официальный» оратор фракции меньшевиков-интернационалистов Мартов и, как бы продолжая, начинает говорить:

— Я еще раз повторяю, что почва для восстания подготовлена правительством, но не время сейчас перестраивать власть. И я не теряю надежды, что та демократия, которая не участвует в подготовке вооруженного выступления, не допустит торжества людей, стремящихся остановить развитие революции. Но правительство незамедлительно должно дать гарантии реализации насущных нужд страны. В первую очередь Мы, Совет Российской Республики, я подчеркиваю, что именно Мы и Правительство должны высказаться за мир, не останавливаясь перед разрывом с империалистической коалицией.

И он формулирует свою знаменитую формулу:

— Или революция съест войну, или война съест революцию. И мы обязаны создать единый революционный фронт внутри страны!

Выступает видный деятель кадетской партии Набоков:

— Я думаю, что сегодня не время для долгих речей. Мы обязаны преодолеть в себе слабость русского либерализма и наши разногласия между собой и с революционной демократией. Это, видимо, последний шанс сохранить завоевания революции и предотвратить контрреволюцию слева. Надо отказаться от рабской подчиненности грядущим событиям и немедленно вступить на путь активной борьбы за недавно завоеванную свободу.

Шуб в своем выступлении говорит, что нельзя не согласиться с Горьким с его «Нельзя молчать» в отношении необходимости поставить заслон на пути повторения кровавых июльских событий, едва не погубивших дело Революции:

— История не простит нам колебаний и раздумий в этот трагический для России час.

Дан предлагает резолюцию, включающую требование к Правительству срочной передачи по телеграфу в армию и в губернские и областные центры решений по вопросу о мире, о передаче земли в ведение земельных комитетов для последующего распределения между крестьянами, об ускоренном созыве Учредительного Собрания. А всем партиям предлагается срочно отправить своих представителей на предприятия, в воинские части, в профессиональные организации, в учебные заведения для разъяснения текущей ситуации и экстренной организации массовых демонстраций в поддержку Правительства и Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Авксентьев объявляет голосование. Подавляющим большинством резолюция принимается.

В это же время меньшевик-интернационалист Суханов думает о возможности направиться в Смольный и договориться с большевиками. Но им уже не требуется ничьей политической поддержки, и они не собираются ни с кем обсуждать вопрос о власти. Переворот начался.

На улицах пока только немногочисленные патрули юнкеров. Войска Петроградского гарнизона в казармах. Они то ли выжидают, не желая вмешиваться в события, то ли ждут приказа из Смольного. Тем более, что наряду с обращением к полковым комитетам о готовности, ВРК Петроградского совета опубликовал в тот же день постановление, в котором говорится: «Вопреки всякого рода толкам и слухам, Военно-революционный комитет заявляет, что он существует отнюдь не для того, чтобы подготовлять и осуществлять захват власти, но исключительно для защиты интересов Петроградского гарнизона от контрреволюционных и погромных посягательств». Однако небольшие отряды Красной гвардии, солдат и матросов, направленные ВРК, уже продвигаются к центру города и начинают занимать стратегически важные учреждения.

В это время председатель Предпарламента Н. Д. Авксентьев, временно исполняющий обязанности председателя ВЦИК, лидер правых меньшевиков Ф. И. Дан и один из лидеров правых эсеров А. Р. Гоц едут с принятым решением в Зимний дворец. В сумерках осеннего дождливого дня Зимний, в котором светятся единичные окна, смотрится серой громадой доисторического бронтозавра. В Малахитовой гостиной происходит заседание правительства. Делегацию Совета Республики проводят в Серебряную гостиную, куда к ним выходит Керенский. Они знакомят его с принятым решением и быстро согласовывают совместные действия.

И вот руководители и агитаторы всех партий, работающих в Предпарламенте, отправляются в казармы Петроградского гарнизона, Ораниенбаума, Павловска, Царского села, на Путиловский и другие заводы города, в Городскую Думу. Они разъясняют положение, сообщают о решениях Центрального Исполнительного Комитета Совета рабочих и солдатских депутатов и Исполнительного Комитета Совета крестьянских депутатов по текущему моменту, о позиции Временного Совета Российской Республики. Зовут офицеров и солдат на защиту революции. Представители партий обращаются к городской думе, к союзам, объединяющим военных и гражданских представителей различных направлений, к учащимся юнкерских училищ и студентам.

Вечером на улицы выходят рабочие, интеллигенция, студенты и юнкера, делегаты крестьянского съезда, полки в полном вооружении. В руках у них знамена и наскоро написанные транспаранты в поддержку ЦИК Совета Р. и С. Д., ИК Совета К. Д., Временного правительства и Совета Российской Республики. В рядах можно за-

метить хорошо известные лица деятелей разных партий — конституционных демократов, народных социалистов, социал-демократов разных оттенков, социалистов-революционеров, группы «Единство».

Люди идут под мелким сеющим дождем. Среди демонстрантов можно видеть и машины броневого отряда. Сгущающийся мрак осеннего вечера прорезают снопы света прожекторов, взятых с собой одним из батальонов, встречавших в апреле Ленина.

При свете немногочисленных фонарей удается прочесть отдельные надписи на транспарантах: «Да Временному правительству», «Поддержим Исполкомы Советовъ Р., С. и К. Д. и Временное революционное правительство», «Да здравствуют Временное Правительство и Комитет Государственной Думы», «Защитим революционное правительство Керенского», «От правительства Керенского к Учредительному Собранию», «Нет анархии», «Верим Временному правительству», «Преградим дорогу большевистской анархии», «Большевиков к ответу», «Да здравствует демократия».

Демонстранты идут из края в край по всему Невскому проспекту, уходя одни к Зимнему дворцу, где заседает Временное правительство, другие к Мариинскому, месту заседаний Временного Парламента Российской Республики. Отдельные колонны по традиции направляются к Таврическому дворцу, резиденции Государственной Думы. Идут и к Смольному, где располагаются Петроградский и Центральный Исполнительные Комитеты Советов Рабочих и Солдатских Депутатов.

Постепенно демонстрация разливается по всему городу, и красногвардейские отряды тонут в этом море.

Эти разговоры, эта петроградская демонстрация в защиту февральской революции то ли померещились автору, то ли миражом представлялся членам Предпарламента другой путь России осенью 17 года.

Геннадий Маркин
(г. Щекино)

НЕ СТАТЬ ХУЖЕ

Жандармского ротмистра Бегичева чувство беспокойства охватило утром, как только он пробудился ото сна. Перебирая мысленно прошедший день и вспомнив планирование на день наступивший, он никак не мог понять причину, ввергшую его в такое дискомфортное состояние, но как человек, имевший огромный опыт на службе в политической полиции, он приготовился к чему-то нехорошему, неординарному, немыслимому доселе зловредному обстоятельству. И это нехорошее чувство не обмануло его; едва он прибыл на службу, как его тут же срочно вызвали к начальнику Калужского губернского жандармского управления генерал-майору Трояновскому.

В приемной губернского жандармского начальника чувство беспокойства у Бегичева усилилось, и он почувствовал, как у него, щекоча между лопаток спину, струйкой побежал пот. Вытерев носовым платком вспотевший лоб и усы, он без разрешения адъютанта приоткрыл окно и полной грудью вдохнул в себя свежий осенний воздух. Это на какое-то время успокоило его, остудило разгоряченную плоть, освежило сознание. На улице было холодно и пасмурно. Осеннее небо, словно защищаясь от хмурого взгляда ротмистра, скрылось за тяжелыми темно-серыми тучами, готовыми при первой возможности излить на землю свои холодные дождевые слезы. Вскоре из кабинета Трояновского послышался звон колокольчика, и адъютант скрылся за огромной обитым кожаным дерматином дверью. «Их высокопревосходительство просят вас войти»,— произнес он после того как вернулся в приемную. Бегичев провел рукой по усам, пригладил волосы и не без волнения перешагнул порог кабинета. Став по стойке смирно в ожидании дальнейших распоряжений, он опытным взглядом успел заметить образцовый порядок, царивший в кабинете шефа. Высокие оклеенные зелеными обоями стены огромного кабинета шефа жандармов под потолком завершались идеальной гипсовой окантовкой, с высокого потолка на длинной цепи свисала хрустальная в несколько ламп люстра, пол застелен мягкой поглощающей шаги ковровой дорожкой. На трех больших полуциркульных окнах от потолка до пола свисали тяжелые бархатные бордового цвета портьеры. У стены напротив окон находился шкаф с именной картотекой, а посредине кабинета стоял огромный с резными краями покрытый зеленым сукном рабочий стол хозяина кабинета, на котором стояла чернильница с пером, бронзовый подсвечник, находился небольшой медный колокольчик, стопкой лежала писчая бумага. Над высокой спинкой мягкого кожаного кресла на стене горделиво красовался изготовленный из меди двуглавый орел чеканной работы, а рядом с ним Чудотворная Калужская икона Божией Матери, Небесной покровительницы Калуги и Калужской земли. Генерал стоял у окна и смотрел куда-то вдаль. Он молчал. Молчание затянулось, и это обстоятельство еще больше усилило беспокойство ротмистра. Наконец, стоявшие в углу кабинета большие напольные часы с длинным маятником начали отсчитывать двенадцать часов пополудни, нару-

шив своим мягким приглушенным боем затянувшуюся до неприличия тишину. Трояновский вздрогнул, взглянул на часы, а затем медленно повернулся к Бегичеву и жестом руки указал на стул, после чего обошел рабочий стол и сел в кресло. Дождавшись последнего боя курантов, он взглянул на ротмистра тяжелым взглядом из-под опухших от бессонницы век.

— Скажите, Сергей Николаевич, не довелось ли вам когда-либо встречаться с графом Львом Николаевичем Толстым? — тихим голосом спросил он.

— Никак нет, ваше превосходительство, не имел чести,— ответил Бегичев, не совсем понимая сути заданного ему вопроса.

— А знакомы ли вы с его литературными трудами? — вновь задал вопрос генерал.

— Да, я читал его романы «Война и мир» и эту, как ее — «Анну Каренину», скажу я вам, довольно-таки занятные вещи,— ответил совсем растерявшийся от неожиданного разговора Бегичев.

— А что бы вы могли сказать о его лжеучении, которое ныне в огромных количествах распространяется среди рабочих и крестьян? — генерал склонил седую голову и стал энергично растирать пальцами виски.

— По долгу службы я ознакомился и с его лжеучением,— помолчав немного и собравшись с мыслями, ответил ротмистр.— Скверная и опасная, скажу я вам, эта вещь — его лжеучение. А с какой целью, осмелюсь спросить, вы спрашиваете меня о Толстом?

— По сведениям Тульского губернского жандармского управления вчера ночью двадцать восьмого октября граф Лев Толстой совместно со своим доктором скрылся из своего имения Ясная Поляна.

— И куда же, любопытно знать, он направился? — спросил ротмистр.

— Скрылся с целью, как надо предполагать, странничать,— ответил генерал. Затем расстегнул тесный ворот темно-синего мундира и, пригладив бороду, продолжил.— Далее в донесении сказано следующее,— при этих словах Трояновский взял в руки лежавшее на столе донесение, водрузил на нос небольшие очки и, покряхтев, принялся читать.— Граф Толстой в личных беседах уже неоднократно говорил о том, что собирается навестить в Шамординском монастыре свою сестру — монахиню Марию Николаевну. Также граф Толстой высказывал мысль о желании остаться жить в одной из деревень в округе какого-нибудь монастыря, а в особенности Оптиной Пустыни,— после этих слов генерал закончил читать донесение и, отложив его в сторону, внимательно взглянул на Бегичева. — Как мне доложили, охрана церквей, монастырей и монастырских деревень от какого-либо противного государственному порядку и общественной безопасности действия относится к вашей компетенции, ротмистр?

— Так точно, господин генерал,— при этих словах Бегичев встал со стула и стал по стойке смирно.

— Да сидите вы, сидите,— махнул рукой генерал, после чего продолжил.— Лично говорю вам, любезнейший Сергей Николаевич, в случае появления Толстого или вообще странника, возраст и приметы которого подходили бы к личности графа, не применять к нему никаких установленных законом мер, как против бесписьменного, так и других. В случае прибытия и выяснения самоличности графа, немедленно донести мне. Немедленно.

— А почему бы нам, милостивый сударь Евгений Иванович, в случае появления графа не арестовать его и как не имеющего вида выслать обратно в его же имение в Ясную Поляну? — спросил Бегичев.

— Ни в коем случае,— замотал головой Трояновский.— Его арест непременно вызовет огромное недовольство в обществе и спровоцирует беспорядки, которые с нетерпением ждут определенные круги, расшатывающие устои империи. А потом,—

генерал вновь стал массажировать пальцами виски,— а потом, скажу вам по секрету, жена нашего губернатора церемониймейстера двора его императорского величества князя Сергея Дмитриевича Горчакова, Анна Евграфовна Горчакова, урожденная графиня Комаровская, племянница Софьи Андреевны Толстой, жены графа. И самое главное, что я вам хотел сказать и зачем, собственно, и пригласил вас для личной беседы. В случае появления графа Толстого в монастырских деревнях, необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы он не смог бы в них поселиться, и вообще нужно сделать так, чтобы в случае приезда он как можно быстрее покинул бы нашу губернию. Это нужно сделать очень аккуратно, чтобы ни сам граф, ни следующий с ним доктор, ни кто-либо другой, не смогли догадаться о том, что инициатива о выдворении графа Толстого за пределы нашей губернии исходит от властей. Способны ли вы, ротмистр, выполнить данную работу без лишнего шума?

— Так точно, ваше высокопревосходительство, способен,— четко доложил Бегичев.

— Ну, вот и славненько. Сейчас же оформляйте предписание и выезжайте в Козельск. Я же со своей стороны направлю в полицию распоряжение о выделении вам в помощь полицейских,— проговорил генерал, вставая из-за рабочего стола давая понять, что разговор окончен.— К слову сказать, наши с вами действия согласованы с губернатором, и он ждет от нас действенных мер. Кстати, осмелюсь напомнить вам, господин ротмистр, о том, что в прошлом году за бездеятельность в отношении графа Толстого были уволены со службы помощник Тульского полицмейстера, Крапивенский уездный исправник, становой пристав и жандармский офицер, осуществлявший секретное наблюдение за графом,— как бы невзначай произнес жандармский генерал, после чего в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая тихим ходом напольных часов.— Ну-с, честь имею, господин ротмистр! — кивнул головой генерал.

— Честь имею, ваше высокопревосходительство! — щелкнул каблуками Бегичев и склонил голову.

«Вот оно — это мучившее меня все утро мое беспокойное состояние. Наконец-то оно приобрело конкретное имя, фамилию, отчество и звание»,— мысленно думал Бегичев, после возвращения от начальника жандармского управления, и тут же почувствовал, как у него неприятно заныло под ложечкой, а на правом глазу задергалось нижнее веко.

* * *

Ночной литерный поезд уже давно выбился из своего графика и шел с большим опозданием. Несмотря на это он подолгу простаивал на станциях и, едва раздавался удар перронного колокола, гудел протяжно и, лязгнув буферами, отправлялся в путь.

В общем вагоне было душно и тесно от переполненности пассажиров и вещей. Измученные долгой дорогой люди сидели на полках по несколько человек, а кому не хватило мест, расположились на мешках, узлах, картонных коробках, чемоданах и корзинах, а некоторые прямо на грязном истоптанном полу. Многие устав от дневной суеты, вагонной толкотни и ночного мучения под утро все же задремали, опустив на грудь отяжелевшие головы и выронив из рук свои нехитрые пожитки.

Сидевший у стены старец с большой седой бородой смотрел в окно. Одет он был в длинное русское пальто темно-синего сукна со складками сзади, сапоги в глубоких калошах, на голове — бархатная шапка, формой полукамилавки, в руке он держал складной стул, который одновременно служил ему тростью. В предрассветной серой дымке мимо поезда медленно проплывали поля, деревья, деревенские избы и пристанционные постройки небольших станций. Оторвав взгляд от окна, он повернулся к сидевшему рядом с ним господину с небольшой аккуратной бородкой и усами, так

же, как и старец, одетого в пальто, сапоги и шапку.

— Нехорошо поступил по отношению к Софье Андреевне,— произнес старец и снял с головы шапку.— Все ж надо было бы ее предупредить, а так… нехорошо поступил. Нынче, как приедем, тотчас же отпишу ей,— произнес он и вновь отвернулся к окну.

Произошедший накануне разлад с близкими ему людьми, особенно с женой Софьей Андреевной, удручал его. В который раз он вспоминал их последний непростой разговор.

— Как же ты не видишь в Черткове вероломного и эгоистического человека? Неужели ты не догадываешься, что он просто-напросто хочет нас всех пустить по миру? И это твое духовное завещание — оно погубит всех нас, разорит! Неужели ты не понимаешь этого, Левушка? — еле сдерживая слезы отчаяния, спрашивала у него Софья Андреевна.

— Не говори так, Софья, не говори! Ты же о нем ничего не знаешь и про мое завещание тоже ничего не знаешь!

— Все я знаю! По твоему завещанию все твои рукописи и дневники попадут в его руки! Ты только его и слушаешь, а нас ты не слышишь и не видишь! Хочешь меня с детьми по миру пустить! Ах, как я его ненавижу! — перешла на крик Софья.— Если ты не уничтожишь это свое завещание, то я покончу с собой! Я объявлю тебя потерявшим разум! Я обращусь к царю и потребую над тобой опеки! — кричала она.

— Вы все хотите жить, ничего не делая, не очень обременяя себя душевными скорбями, а жить и трудиться надо во благо народа,— повысив голос, ответил он жене.

Софья Андреевна поняв бессмысленность дальнейшего разговора, махнула рукой и, сев в кресло, разрыдалась. Как же ему хотелось в этот момент подойти к ней, обнять ее, сказать доброе ласковое слово, погладить сбившиеся на голове волосы, пожалеть ее. Нет, не подошел, не обнял, не пожалел. И вот теперь сидя в полутемном душном общем вагоне и вглядываясь в предрассветную темь, он вновь и вновь переживал о произошедшем семейном разладе. Вспомнив слезы и рыдания жены, ему вновь, как и прошлый раз, в доме, захотелось обнять Софью, прижать к себе и успокоить. Невольно на его глаза стали наворачиваться слезы. «Нехорошо поступил по отношению к ней»,— вновь подумал он. И вдруг в тот же миг, какое-то другое чувство охватило его, опьянило сознание, выдворило из сердца и из души сопереживание. «Как же она могла так поступить со мною? По какому праву, ничего не объяснив, тайно ночью со свечою в руке начала обыскивать мои ящики с рукописями, ища мое завещание?» — вновь задался он вопросами, на которые не мог найти ответа, вспомнив, как он, мучаясь от бессонницы, увидел, что жена тайно обыскивает его рабочий кабинет. Он словно потерял почву под ногами. Оставаться и жить после такого, было просто немыслимо, и он решился на уход. Разбудив темной осенней ночью своего спутника — господина с небольшой и аккуратной бородкой, он произнес:

— Просыпайтесь, Душан Петрович, мы уходим.

— Как уходим, куда? — удивился тот, не сразу сообразив спросонья, что именно от него хотят.

— Совсем уходим, навсегда. Вставайте, времени нет, надо спешить, пока ночь на дворе, и все спят. Возьмите с собою все самое необходимое и выходите, а я на конюшню, распоряжусь, пусть запрягают лошадей.

— Может быть, дождаться утра, Лев Николаевич, утро вечера мудренее,— предложил Душан Петрович, вставая с кровати.

— Нет, надо спешить, пока все спят,— вновь повторил Лев Николаевич.

Душан Петрович не стал спорить, и вскоре уже был на улице. Он подошел к стоявшему в раздумье Льву Николаевичу.

— Может быть, все-таки вернетесь? — спросил Душан Петрович, застегивая на ходу пальто и надевая шапку. В руке он держал небольшой чемоданчик с лекарства-

ми, необходимыми Льву Николаевичу.

— Надо попрощаться с Сашенькой,— вместо ответа произнес Лев Николаевич и направился в сторону дома.

Свою младшую дочь Александру Львовну Лев Николаевич любил больше всех своих детей. Сашенька с раннего детства помогала отцу в разборе его почты, отвечала по его поручению на многочисленные письма, перепечатывала его рукописи. Не всегда их взаимоотношения были идеальными. Нестерпимый, взрывной характер Александры иногда проявлялся резкими, не всегда тактичными выходками в отношении отца. «Не нужно мне твоей стенографии, не нужно. Мне нужна твоя любовь, твоя благодарная дочерняя любовь!» — проговорил однажды Лев Николаевич во время ссоры с дочерью и заплакал. И вот сейчас разбудив Александру, он вновь плакал.

— Я ухожу, Сашенька, ухожу навсегда,— тихо, почти шепотом, говорил Лев Николаевич. — Так жить я больше не могу.

— Куда вы собрались, папа? — сделав ударение в слове «папа» на последнюю букву «а», спросила Александра.

— В Оптину. Поселюсь там где-нибудь радом с монастырем. Маме ничего не говори, я сам ей отпишу все в письме,— произнес Лев Николаевич и, развернувшись, вышел из комнаты.

К уходу было все готово. У конюшни стояли запряженные в дышловую коляску лошади, на козлах сидел старый кучер Адриан, а для сопровождения коляски верхом на лошади конюх Филипп.

— Ты, Филиппушка, поезжай первым, будешь светить нам факелом дорогу,— приказал Лев Николаевич конюху. — В Козлову Засеку не поедем, в случае пробуждения Софьи, все за мною непременно кинутся именно в Козлову Засеку. Поедем на станцию Щекино, там они меня искать не догадаются, да и поездов там больше останавливается. Ну, трогай! — махнул он рукой и лошади взяли с места...

Поезд вновь остановился на каком-то полустанке, и задремавшая было сидевшая рядом со старцем худощавая лет тридцати крестьянка проснулась, машинально схватив выпавший из ее рук узелок, начала развязывать его, проверяя: целы ли ее вещи и не украли что-либо из ее узелка лихие люди. Убедившись, что все цело, она вздохнула с облегчением и, прижав узелок к себе, начала всматриваться в окно.

— Это что же за станция-то? — растолкала она своего спавшего мужа, добротного полного крестьянина, одетого в тулуп и шапку.

— Чего тебе? — недовольно спросил тот.

— Что за станция-то? Не проспать бы станцию нашу.

— Сиди, спи, дурная баба. Тебе же сказано было: как подъезжать будем к нашей станции, так кондуктор нас покличет,— со злостью в голосе проговорил крестьянин.

— Что ты брешешь-то на меня? Вот кобель-то окаяннай, все брешет и брешет, а за что и сам не знает, лишь бы побрехать! — с обидой в голосе произнесла крестьянка.

Услышав громкий разговор, от шума проснулись спавшие пассажиры, послышались возня, скрип корзин, хруст сумок и мешков, щелканье замков чемоданов, чье-то недовольное бормотание.

— Есть такие люди, что любят быть сердитыми. Они всегда чем-нибудь заняты и всегда рады случайно оборвать, обругать того, кто к ним обратится за каким-нибудь делом,— вполголоса произнес старец, оторвав свой взгляд от окна и обращаясь к крестьянке.— Такие люди бывают очень неприятны. Но надо помнить, что они очень несчастны, не зная радости, доброго расположения духа, и потому надо не сердиться на них, а жалеть их.

— Дык как же его жалеть-то? Я уже и так с ним, и этак, и по-хорошему, а он с каждым разом все злее и злее становится, что дьявол в него вселился, что ли? — жалобно проговорила женщина, глядя на старца.— Я уже ему говорю: давай в церковь к

батюшке сходим, поговоришь с ним, может он, что и подскажет тебе,— не хочет.

— Чем больше живет человек для души, тем меньше ему бывает помех во всех делах его и потому, тем меньше он будет сердиться,— произнес старец.

— А ты не успокаивай! Тоже мне успокоитель нашелся! Надо будет, я и сам ее успокою! — громко и со злостью в голосе произнес муж крестьянки.

— Лев Николаевич, не разговаривайте с ним, прошу, не надо. Вам нельзя волноваться,— вполголоса проговорил сидевший рядом со старцем господин с аккуратной бородкой.

— Позвольте, позвольте, дайте же пройти,— раздался мужской голос, и к сидящим протиснулся мужчина, одетый в серое широкое пальто, сапоги и кепку. На вид ему было около тридцати лет. — Позвольте,— еще раз повторил он и стал внимательно всматриваться в лицо старца. — Лев Николаевич, вы ли это? Да какими же судьбами… сюда к нам… в общий вагон? — растерянно заговорил он.

— А вы кто будете? — спросил Лев Николаевич у мужчины.

— Тимофей я. Тимофей Борисов, рабочий Тульского патронного завода,— громко произнес мужчина. — Я же видал вас по фотографии, как же я сразу-то вас не признал?! — улыбнулся Тимофей. — Мужики, бабы,— обратился ко всем Тимофей,— с нами вместе едет писатель Лев Толстой.

Некоторые пассажиры, услышав о Льве Толстом, стали с любопытством на него смотреть, другие стали двигаться к нему, расталкивая мешавшие под ногами вещи, третьи с безразличием отвернулись.

— Ну и как живется нынче рабочему человеку? — спросил Тимофея Толстой.

— Живется-то не шибко хорошо, плохо живется.

— Плохо, значит? — словно раздумывая, переспросил Толстой.— А в чем же оно выражается?

— Во всем. Работаем спозаранку и до самого темна, рабочий день не нормирован, иногда по двенадцать, а то и по четырнадцать часов работаем. Условия плохие, зарплата маленькая, бедность заела. Хотели забастовку организовать, так запретили. Хозяева стали грозить полицией или казаками, а еще хуже жандармом пугают, сил уже нету никаких.

— Сила не в казаках и не в жандармах. Сила в вас в рабочем народе. Если он несет свое угнетение, но только потому, что он загипнотизирован. Вот в этом-то все и дело — уничтожить гипноз. А вот крестьянам еще хуже живется, чем рабочим, а они живут, и дело свое крестьянское исполняют,— произнес Толстой.

— Да, и нам, крестьянам, тоже не сладко живется, тоже авось не сахар в мед кунаем, а землю пашем, хлебушек растим. Без него, без хлебушка-то нашего, чай, ни рабочий, ни хозяйский какой человек, а то и сам жандарм работать не согласится. Какая же тут работа, коли в животе пусто,— проговорил ругавший жену крестьянин.— Баба-то вон моя жаловалась давеча, что я злой стал, а как же тут не разозлишься, коли детей полна хата, и все рот разевают, покушать хотят, а что я им дам-то? Квас с брюквой? Как дальше жить — ума не приложу!

— Жить нужно просто: работать, любить землю, рожать и воспитывать детей, помогать соседу, не обольщаться роскошью, не впадать в алчность, жить скромно, сдержанно, правдиво,— ответил Толстой.

Наступила тишина, нарушаемая перестуком вагонных колес, никто за разговорами и не заметил, как поезд тронулся и уже давно находится в пути.

— Это ты, братишка, лодырь. Поэтому у тебя и детишки голодные,— обратился к крестьянину парень лет двадцати.— Я вот недавно с флота возвернулся, служил на Балтике, так мы с родителями и братьями, хлеб вырастили, и барину хватило, и нам, и еще на продажу осталось. Вот так. А ты говоришь: детей нечем кормить. Работать надо, а не лодыря праздновать да с бабой своею ругаться,— после этих слов многие из присутствующих засмеялись, и лишь крестьянин что-то пробурчал недовольно и

отвернулся к окну.

— А что теперь на флоте, как там матросы с офицерством уживаются? — спросил у парня Лев Николаевич.

— Как вам сказать? Всякое бывает. Ежели, допустим, офицер человек хороший, то и уживаются с ним братишки наши, а ежели прежде приказания он зуботычину справляет, то, конечно, недовольство имеется огромное. Таких офицеров наш брат матрос не уважает и в случае чего, то и за борт может такого запросто швырнуть.

— Ну, а наказания не побоится, ежели офицера за борт бросит?

— Я вам скажу так: если доведут господа офицера нашего брата матроса до отчаяния несправедливостью какою, то они же сами должны и отвечать за это, а не наш брат матрос.

— Скажи, а вот в случае чего будете в людей из оружия стрелять?

— Я вам скажу так: ежели неприятель, какой напанет, то пальнем из всех орудий, да так, что в следующий раз неповадно будет.

— А вот, например, в своего русского. Например, в рабочего или крестьянина, если они за оружие возьмутся?

— В своего мужика рабочего или крестьянина матрос стрелять не будет.

— А если офицер прикажет? — не отступал от парня Лев Николаевич.

— Трудно сказать. Думаю, что офицер — он тоже не дурак. Он тоже понимает, в кого можно стрелять, а в кого нет,— ответил парень.

Разговоры прекратились. За окном уже давно рассвело, и день набирал силу. В тишине под монотонный стук вагонных колес многие уснули. Уснул и Лев Николаевич с Душаном Петровичем.

— Следующая станция Козельск,— разбудил их громогласный голос кондуктора.— Козельск следующая остановка, приготавливайтесь к выходу,— еще раз объявил он, проходя по вагону.

К станции поезд подходил медленно. Наконец, дернув вагоны, остановился. Лев Николаевич и Душан Петрович сошли на шумный, переполненный людьми перрон, было около пяти часов вечера, на улице уже смеркалось. Наняв ямщика, они выехали вскоре на ямщицкой в сторону Оптино-Введенской пустыни. Погода ухудшилась. Поднявшийся ветер гнал по ночному небу тучи, которые то и дело закрывали собой луну. В эти минуты становилось совсем темно и лошадь, отфыркиваясь, шла шагом, с трудом волоча за собой повозку по раскисшей от грязи дороге. В ямщицкой тележке было холодно.

— Лев Николаевич, оденьте еще одну шапку и запахните лучше пальто,— распорядился Душан Петрович, поправляя на Толстом одежду.

— А какие теперь старцы в Оптиной? — спросил Толстой у ямщика.

— Отец Варсонофий и отец Иосиф,— ответил ямщик.

— Как приедем, так сразу пойду к ним,— скорее сам себе, чем кому-либо, сказал Толстой и замолчал.

В очередной раз в темном небе показалась луна, бледным взглядом вглядываясь в благоухающие осенним ароматом Оптинские сосны, маленькими фонариками загорелись над лесом звезды, освещая разбитую ненастьем дорогу, грандиозный и величавый раскинулся за речкой золотоглавый монастырь.

* * *

Гостинник Оптино-Введенской обители монах отец Михаил едва возвратился с вечерней литургии, как в гостиницу вошли Толстой и Маковицкий. Толстой снял шапку и подошел к Михаилу.

— Можно ли нам у вас здесь в гостинице остановиться на несколько дней? —

спросил он, кладя перчатки на стол.

— Пожалуйста, братья, живите, сколько вам будет угодно,— ответил Михаил, склонив в почтении голову.

— Вам, может быть, неприятно, что я приехал? — вновь задал вопрос Толстой.

— Почему же нам должно быть неприятно?! — удивился отец Михаил.— Мы всегда рады путникам, приходящим в нашу обитель.

— Я Лев Толстой, отверженный церковью, пришел к вашим старцам поговорить с ними,— уточнил Толстой.

После этих слов, монах с любопытством взглянул на Толстого, и у него едва заметно дернулась рыжая борода.

— Что же?! Может быть, из уст старцев вы и услышите сильное слово, которое осветит истину. Может быть, прояснятся сомнения, охватившие вашу душу?! — изрек монах.— Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату,— проговорил он и направился по коридору. Толстой и Маковицкий последовали за ним следом.

Комната оказалась просторной и светлой с двумя кроватями и широким диваном у стены. Внесли вещи.

— Как же здесь хорошо! — воскликнул Лев Николаевич и сел на диван. Он давно не испытывал такого радостного чувства.— Скажите, отец Михаил, можно ли у вас попросить принести мне бумагу и карандаш? Я хотел бы сесть за писание,— обратился он к гостиннику.

— Разумеется, Лев Николаевич. Я распоряжусь, и вам сейчас же принесут все необходимое для работы,— ответил монах.

На следующее утро Толстой проснулся около девяти часов. Не став будить спавшего Маковицкого, он, взяв с собой складной стул-трость, направился в скит к старцам. Выйдя из гостиницы, он не пошел в монастырские ворота, а направился вдоль стены. По дороге ему встретились двое монахов, которые при виде Толстого, сняли с головы свои скуфейки и поприветствовали его полупоклоном. Лев Николаевич тоже снял с головы шапку и, так же как и монахи, молча, склонил голову в полупоклоне, после чего направился по дороге, ведущей в сторону скита. Подойдя к воротам скита, Толстой остановился в нерешительности, не зная к кому из старцев войти. С правой стороны ворот находилась келья старца Иосифа, а с левой — Варсонофия, с которым Толстой был уже знаком. «К кому же мне войти? С кем мне поговорить, с кем обдумать мучающие меня душевные сомнения?» — раздумывал он, продолжая стоять у ворот скита.— «Пойду к Иосифу,— решился наконец-то Лев Николаевич, вспомнив, как в произошедшей однажды беседе с отцом Варсонофием, они разошлись во взглядах о святом писании и, не придя к единому мнению, расстались.— К Иосифу»,— вновь повторил мысленно Толстой и уже было направился к келье старца, как вдруг, в его сознании и внутренних чувствах возникло противодействие встрече со старцем. Словно какая-то невидимая злая сила загородила ему дорогу в келью. Словно каменная стена встала на пути у Толстого, заточив в невидимые каменные казематы его душу, спрятав ее от покаяния, не дав возможности ему громко крикнуть на весь мир: я с вами, братья православные, я с тобою остаюсь навеки, Русь православная! Вместо этого словно какими-то колдовскими чарами обволокло сознание великого мыслителя, ввергло его в сон и все дальше и дальше отводило затуманенный разум от здравомыслия, все больше и больше ввергая его в уныние и отчаяние, навлекая на него гордыню и недоверие к давно ожидавшим его старцам. «Зачем я иду сюда к ним? Для чего ищу встречи со старцами? Что нового они мне скажут? То, что я и без них давно знаю?! И что я им скажу? Что я, отвергнутый церковью граф Толстой, пришел у вас искать душевной поддержки? Все это пустое. Вот если бы они сами меня пригласили к себе, то меня не мучил бы вопрос: что им сказать? Гостинник отец Михаил уже, наверное, доложил настоятелю о моем приезде, но они молчат. Возможно, они не

желают встречаться со мною?! Ну что же, так тому и быть!» Толстой вдохнул глубоко осенний утренний воздух и, постояв еще немного, словно сомневаясь, идти к старцам или нет, круто развернувшись, зашагал прочь. Дойдя по тропинке до реки, он развернул свой складной стул и сел на него, любуясь открывшейся перед ним панорамой окруженного лесом монастыря. Затем вернулся в гостиницу.

— Граф, где же вы были? — спросил его по возвращении Маковицкий.

— Ходил в скит, хотел зайти к старцам, постоял, но не решился.

— Почему же? — удивился Маковицкий, вспомнив, как Толстой жаждал встречи со старцами.

— Не решился, ведь я же отлучен.

— А еще пойдете?

— Если меня пригласят,— грустно вздохнул Толстой.— Я, дорогой Душан Петрович, что-то нездоров, прилягу, пожалуй,— при этих словах Толстой прилег на диван.

Доктор Маковицкий измерил ему пульс, дал выпить лекарство, после чего Лев Николаевич уснул. Проснулся он под вечер, когда уже завершилась вечерняя служба. Вышел на улицу и прогулялся по Оптиной, еще раз сходил к реке, к парому, после чего вернулся в гостиницу.

На следующее утро Толстой проснулся рано, разбудил Маковицкого.

— Просыпайтесь, Душан Петрович,— проговорил он.— Мы уезжаем в Шамордино к Машеньке. Может быть, она мне подскажет, как поступить.

Через час вышли из гостиницы, где Лев Николаевич в журнале посетителей написал: «Благодарю за теплый прием. Лев Толстой».

(продолжение следует)